РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

И. БУНИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1973

Вступительная статья
А. Твардовского

Примечания
А. Саакянц

Иллюстрации
О. Верейского

Р1
Б91

7-3-1
Подп. изд.

О БУНИНЕ

1

Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, умерший в Париже в 1953 году, при жизни не был знаменитым писателем в обычном смысле этого понятия. Имя его никогда не становилось знамением литературного направления, «школы» или просто моды. Присвоение И. А. Бунину в 1909 году звания почетного академика императорской Академии наук, в глазах передовых читателей, само по себе в то время не могло вызвать к нему симпатии. В среде демократической интеллигенции еще памятен был исполненный достоинства отказ Чехова и Короленко от этого почетного звания в связи с отменой Николаем Вторым решения академии о присвоении такого же звания М. Горькому. Точно так же и Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 году,— акция, носившая, конечно, недвусмысленно тенденциозный, политический характер,— художественная ценность творений Бунина была там лишь поводом,— естественно, не могла способствовать популярности имени писателя на его родине.

За всю долгую писательскую жизнь Бунина был только один период, когда внимание к нему вышло за пределы внутрилитературных толков,— при появлении в 1910 году его повести «Деревня». О «Деревне» писали много, как ни об одной из книг Бунина ни до, ни после этой повести. Но нельзя переоценивать и этого исключительного в бунинской биографии случая. Отсюда еще далеко было до того, что называется славой

Статья «О Бунине», предпосланная в качестве предисловия к настоящему тому «Библиотеки всемирной литературы», принадлежит перу выдающегося советского поэта Александра Трифоновича Твардовского (1910—1971). Она открывала Собрание сочинений И. А. Бунина в девяти томах, изд-во «Художественная литература», М., 1965—1967.

писателя, подразумевая не полулегендарную прижизненную славу Толстого или Горького, но хотя бы тот обширный и шумный интерес в читательской среде, какой получали в свое время произведения литературных сверстников Бунина — Л. Андреева или А. Куприна.

Бунин только теперь обретает у нас того большого читателя, которого достоин его поистине редкостный дар, хотя идеи, проблемы и самый материал действительности, послуживший основой его стихов и прозы, уже принадлежат истории.

Вышедшее у нас несколько лет назад пятитомное собрание сочинений И. А. Бунина (весьма неполное и несовершенное) тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров — цифра космическая в сравнении с заграничными тиражами бунинских изданий — давно разошлось. Кроме того, выходили однотомники прозы, выходили «Стихотворения» Бунина в большой и малой сериях «Библиотеки поэта», отдельные издания лонгфелловской поэмы «Гайавата» в его классическом переводе — их уже не найти в книжных магазинах. Все это говорит, конечно, прежде всего о небывалом, в смысле не только количественном, росте читательской армии на родине поэта, покинутой им когда-то в страхе перед разрушительной силой революции, перед мыслившимся ему попранием ею святынь культуры и искусства, всеобщим одичанием. И еще эти факты свидетельствуют о принципах новой, социалистической культуры, исключающей в отношении к подлинным произведениям искусства какое-либо подобие мстительного чувства к их авторам, некогда отвернувшимся от нее и даже ронявшим себя до мелочных, обывательски озлобленных суждений о ней.

То, что, как сказано, слава не пришла к Бунину при жизни, не означает, однако, что он не имел значительного круга своих читателей и почитателей. Нынешнее признание его огромного таланта, значительности его вклада и заслуг в развитии русской прозы и поэзии не является открытием нашего времени. И при жизни Бунин пользовался уважением даже таких его современников, как Блок и Брюсов, чьи эстетические взгляды и творческую практику сам он начисто отвергал. Обожаемый Буниным Чехов, со свойственной ему сдержанностью, но очень благосклонно оценивал еще совсем молодого Бунина и дарил его дружеским расположением. Но совершенно исключительным вниманием Бунин пользовался со стороны М. Горького. М. Горькому принадлежат самые высокие оценки, самые щедрые похвалы таланту Бунина, какие когда-либо к нему относились.

До конца дней М. Горький в своих печатных и изустных высказываниях неизменно называл имя Бунина в ряду крупнейших имен русской литературы, настоятельно советовал молодым писателям учиться у него. Он по-человечески очень любил Бунина, хотя и знал за ним «барскую неврастению» и огорчался неспособностью его направить свой талант «куда нужно».

В письмах Горького к Бунину то и дело проявляется что-то глубоко трогательное, полное бережливой нежности и восхищения — вплоть до самоотверженной готовности признать за ним первенство в искусстве. «Вы только знайте, что Ваши стихи, Ваша проза — для «Летописи» и для меня — праздник,— писал ему Горький в 1916 году.— Это не пустое слово. Я Вас люблю — не смейтесь, пожалуйста. Я люблю читать Ваши вещи, думать и говорить о Вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни Вы, может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное... Вы для меня — великий поэт, первый поэт наших дней».

Пусть некая степень этих оценок может быть отнесена за счет, так сказать, широты натуры и склонности к увлечениям великого собирателя и воспитателя литературных сил. Но, пожалуй, ни одно из многочисленных «увлечений» Горького не было таким длительным и прочным.

Бунин отвечал ему выражением чувств признательности и дружеской преданности.

«Мы в отношениях, во встречах с Вами чувствовали эти минуты — то настоящее, чем люди живы и что дает незабываемую радость. Обнимаю Вас и целую крепко — поцелуем верности, дружбы и благодарности, которые навсегда останутся во мне, и очень прошу верить правде этих плохо сказанных слов!»

Только спустя много лет после того, как в 1917 году их дороги навсегда разошлись, Бунин назовет свою дружбу с Горьким «странной», а в своем литературном завещании, прося не печатать, не издавать его писем, сделает неожиданное признание: «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал,— в силу разных обстоятельств (один из многих примеров — письма к Горькому...)».

Но это уже особая черта старого Бунина, поправлявшего Бунина прежнего и отрекавшегося от связей и симпатий своей лучшей поры.

У нас, к сожалению, еще не выпущено в свет ни одной значительной монографической работы, посвященной И. А. Бунину, его художническому опыту, в немалой степени сказавшемуся на культуре современной русской прозы и стиха. Но можно утверждать, что опыт этот не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма. Разумеется, ни Шолохов, ни Федин, ни Паустовский, ни Соколов-Микитов, осваивая в своей литературной молодости, вкупе со всем богатством классического наследия, опыт Бунина и высоко оценивая искусство этого мастера, не могли разделять его идейных взглядов, его известных пессимистических настроений.

То же можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени. Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без

помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоносова. Но круг писателей и поэтов, чье творчество так или иначе отмечено родством с бунинскими эстетическими заветами, конечно, значительно шире. В моей собственной работе я многим обязан И. А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности.

Словом, Бунин не есть сегодня некая академическая величина, которой отдается от случая к случаю дань почтения. Он именно в наши дни приобретает все более широкий круг читателей, его наиболее ценные и безусловные художнические принципы — реальная, действенная часть живого и многосложного современного литературного процесса.

2

Говоря о Бунине, нельзя не начать с главного обстоятельства его литературной и житейской судьбы, которое на долгие годы определило и известную скудость высказываний нашей критики об этом художнике, рассматривающей его обычно отдельно, вне ряда классических мастеров русской литературы конца XIX — первой половины XX веков, и смутность, отрывочность представлений о нем до недавнего времени в среде читателей. Не все, помнившие его в 20-х, в 30-х годах по книжкам собрания сочинений в приложении к дореволюционной «Ниве», даже знали, что этот писатель еще жив, но живет в эмиграции, и среди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но немало и такого, что могло вызывать лишь сожаление о судьбе художника.

Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина, порвавшего навсегда с родной русской землей, которой он был, как редко кто, обязан своим прекрасным даром и к которой он, как редко кто, был привязан «любовью до боли сердечной». За этим рубежом произошла не только довременная и неизбежная убыль его творческой силы, но и само его литературное имя понесло известный моральный ущерб и подернулось ряской забвения, хотя жил он еще долго и писал много.

Был ли этот губительный для художника шаг в данном случае печальным недоразумением, результатом стечения внешних обстоятельств, просто ошибкой? На этот вопрос приходится ответить отрицательно.

Оказавшийся непоправимым поворот личной судьбы Бунина в годы великого исторического перелома в судьбе его родины еще издалека, то более, то менее внятно, подсказывается строем и духом его творений в первые три десятилетия его писательской жизни, главным образом в период между двумя революциями. Я не говорю, что такая же «предопределенность» в отношении выбора между родиной, ставшей советской, и чужбиной вынашивалась и Куприным, и Зайцевым, и Шмелевым, и другими русскими писателями, эмигрировавшими в годы революции,— здесь могли

быть и были случайности. Но Бунин наиболее яркая и цельная из них писательская индивидуальность — пути и этапы его развития более значительны, его трагедия заслоняет собою сходные трагедии и судьбы.

Расхожие определения и характеристики Бунина как «певца оскудения и запустения» «дворянских гнезд», «усадебной печали», «осенней грусти увядания», конечно, поверхностны и неполны, но не были неверными по существу. Эти мотивы его поэзии очень органичны и никак не являлись данью литературной моде. Многими литературными современниками молодого Бунина они уже воспринимались как старомодные, отзвучавшие до него. «Это внезапно ожившая элегичность,— писал Короленко в 1904 году,— нам кажется запоздалой и тепличной. Прежде всего — мы уже имели ее так много и в таких сильных образцах. В произведениях Тургенева этот мотив, весь еще трепетавший живым ощущением свежей раны, жадно ловился поколением, которому был близок и родствен... И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это нынешнее запустение».

Но именно в этой исторической запоздалости элегических мотивов Бунина, мне кажется, заключена их особливая, индивидуальная природа, не говоря уже о том, что до таких подробностей и крайностей в изображении «запустения» добунинская литература не добиралась. Даже «Оскудение» С. Атавы-Терпигорева живописует еще довольно оживленный и разухабистый, хотя и катастрофический по существу период прожигания и проматывания помещиками всяческих «выкупных», «закладных» и деньжонок, вырученных от продажи частично или полностью земель, лесов, а то и наследственных хоромов, период афер, прожектов и малоуспешных попыток переустройства хозяйства на «образцовый» лад. Еще было не так близко до натурального разорения и самой неприглядной бедности.

Бунин родился спустя почти десять лет после реформы. Детство и юность его были свидетелями надвигающейся на семью безнадежной нужды. Отец поэта, по-барски разгульный, беспечный на самом пороге этой бедности, мастерски поющий под гитару «Где ты закатилось, счастье золотое!», не только не вызывает в сыне осуждения или упрека, но наполняет его юношеское сердце чувством нежности и обожания: «Не судья тебе я за грехи былого...» О былом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель знает и по семейным преданиям, по «гербовнику», и по литературным источникам. «Я происхожу из старинного дворянского рода,— пишет Бунин в своих автобиографических заметках,— давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

То обстоятельство, что среди предков Бунина были известные литераторы, он особо подчеркивает,— это связывало его с истоками дворянской культуры, с предтечами и старшими современниками самого Пушкина, своеобразный культ которого в доме Буниных исходил от матери, любившей читать детям («Певуче и мечтательно, на старомодный лад») стихи великого поэта.

Древний дворянский род, в прошлом оставивший столь заметный след в национальной культуре, и — захолустный степной хутор, доведенное до полного упадка хозяйство, заложенные ризы с икон, нависающие сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижения перед лицом соседей, местных властей, крестьян. Дети еще при родителях, под родной, хотя и протекающей при каждом дождике крышей, но какая их ждет судьба? Старший брат Юлий, единственный окончивший курс в университете, отбывает дома, после тюрьмы, высылку под гласным надзором за участие в кружках народнического толка; Евгений бросил гимназию, женится на дочери управляющего соседним имением; Иван уходит из четвертого класса гимназии.

Поэт с юности живет в мире сладчайших воспоминаний — и своих воспоминаний детства, еще осененного «старыми липами», еще лелеемого остатками былого помещичьего довольства, и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом былом довольстве и красоте, благообразии и гармонии жизни. «Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах...»

Спустя много лет, уже в эмиграции, Бунин забывает, что крушение милого ему мира русской помещичьей усадьбы происходило на его глазах, задолго до Октябрьской революции и большевиков, которым он адресует свои обвинения в разрушении «красы земной», в попрании наследственных святынь его детства, его памяти. Как будто он и не был свидетелем того, как на подворья этих усадеб запросто въезжали на дрожках «князья во князьях» — Лукьяны Степановичи, Тихоны Красовы, Буравчики и множество подобных им, приторговывали остатний лесок, землицу, а то и саму усадьбу. Феноменальная памятливость писателя в иных случаях ему явно изменяла.

Поэзия, литературный труд представились молодому Бунину как единственно надежное убежище от «ужаса» и «низости», ожидавших его, недоучившегося гимназиста, «недоросля из дворян», в перспективе жизни. И не только и не столько в материально-правовом отношении, сколько в смысле избежания духовного убожества и пошлости мира лавочников и мелких службистов.

Великая русская литература, по понятиям Бунина, была знаменем дворянства, его культуры, его роли в исторической жизни общества. Но дворянин Бунин выступает в литературе с большим историческим опозданием: там уже занимает прочное место целая плеяда родившихся не

«под старыми липами», не в наследственных усадьбах, а в мещанских, поповских и мелкочиновничьих домах, даже в мужицких избах. А идти по пути Толстого с его отказом от привилегий и предрассудков дворянства — это не было судьбой таланта Бунина.

В своеобразной надменной отчужденности Бунина от «низкой» и «ужасной» среды есть что-то похожее на гонор захудалого шляхтича: чем он беднее, тем больше этого гонора. Смолоду Бунин еще отдает известную дань демократическим настроениям: уважительно отзывается о поэзии Некрасова, пишет восторженную рецензию на стихотворения И. С. Никитина, противопоставляя его здоровый, «дворницкий» реализм декаденствующим современникам. Но с годами он все далее отходит от этих настроений своей молодости, правда, до конца дней не отступая от своего резко отрицательного, саркастического отношения ко всякого рода «истам» в русской поэзии, доходя здесь и до явных крайностей, как, например, в позднейшей оценке Брюсова, Блока, Маяковского, Есенина.

В интервью газете «Голос Москвы» в 1912 году Бунин говорит об эволюции своих идейно-политических взглядов или увлечений молодости: «Прошел я не очень долгое народничество, затем толстовство, теперь тяготею больше всего к социал-демократам, хотя сторонюсь всякой партийности».

Конечно, «тяготение к социал-демократам» не следует понимать более глубоко, чем близость его в эти годы с М. Горьким. Самое верное здесь — слова об отстранении от «всякой партийности».

В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «... Я просто не мог слушать... когда мне проповедывали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего. Я из себя выходил: как, я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному... в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику...»

Несомненно, что «своего батуринского Клима» Бунин любит, готов всячески помочь ему и даже защитить его — все это не расходится с этикой гуманного помещика, несущего «отеческую» заботу о «своем Климе».

Но было бы неправильным на этом и поставить точку, то есть сказать, что Бунин только и выражает в своих сочинениях это духовное единство помещика и мужика, равно причастных родной земле, национальному укладу, традициям.

Дело в том, что «свой батуринский Клим», изображенный художником в правдивых чертах его бытия и сознания, он уже тем самым становится «собирательным Климом», от этого не уйти, если не уходить от правды жизни, не фальшивить, не лгать. Подлинный художник менее всего волен исказить реальную действительность в соответствии со своими

более или менее прочными, но далекими от истины взглядами и убеждениями.

Бунинские образы крестьян и крестьянок наделены такими чертами индивидуальности, что мы, как это бывает только при соприкосновении с настоящим художеством, забываем, что это литературные персонажи, плод фантазии автора. Это живые «батуринские» мужики и бабы, старики и старухи, батраки и отбившиеся от рук «хозяева», неудачники и несчастные «пустоболты». Но они же — во всем своем единичном «батуринском» обличье — теперь уже не только «батуринские» со всеми их бедами и муками, надеждами и отчаянием, уже представители не одного своего «Батурина», и не только одного Подстепья, но всей русской деревни начала века.

Когда Анисья Минаева («Веселый двор»), покинув пустую избу, в полуобмороке от истощения бредет в жаркий, цветущий летний день за двадцать верст к сыну, пустоболту и бродяге, пристроившемуся наконец на «место» в лесной караулке, она для нас как бы не литературный персонаж, а именно та, живая Анисья, каким-то чудом из горькой, мученической своей и безгласной, безвестной жизни занесенная на страницы книги. Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость. Но вместе с тем эта женщина, бредущая проселками и полями, шатающаяся от слабости, жующая какие-то травинки («Горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта — и не увидал бы никто»), предстает нам и как образ всей нищей, «оголодавшей» деревенской Руси, бредущей среди своих плодородных полей, плутающей по межам и стежкам.

Эта дорога матери к сыну, к слову сказать, написана так, что остается в памяти как одна из самых потрясающих страниц русской классической прозы, и нечего пытаться пересказать своими словами «основное содержание» таких страниц: в них все так плотно, так слитно и незаменимо, что нет, кажется, ни одной строки, ни одной ноты их музыкального течения вне этого «основного содержания».

В отношении людей мужицкого мира в дореволюционных деревенских вещах Бунина все симпатии и неподдельное сочувствие художника на стороне бедных, изнуренных безнадежной нуждой, голодом (почти все его деревенские герои, между прочим, постоянно хотят есть, мечтают о еде — о краюхе хлеба, луковице, картошках с солью), унижениями от власть или капитал имущих. В них его особо трогают покорность судьбе, терпение и стоицизм во всех испытаниях голода и холода, нравственная чистота, вера в бога, простодушные сожаления о прошлом. К людям, так или иначе уже порывающим с этим исконным крестьянским миром, узнав-

шим соблазн отхожих заработков на фабрике, в городе, на железной дороге, недовольным, непоседливым и «вольным на слова» с их идеалом: «не пахать, не косить, девкам жамки носить...» — Бунин беспощаден. Дениска из «Деревни» — один из таких ненавистных Бунину людей. Примечательно, что не у кого другого, а именно у Дениски автор обнаруживает сверток «литературы», где вкупе со всякой лубочной дрянью находится и брошюра «Роль пролетариата», причем автор заставляет Дениску по его безграмотности исказить второе слово этого заглавия — «проталерията», а также назвать все это вместе «кляповинкой разной».

Бунин искренне любит своих деревенских героев, людей, придавленных «нуждишкой», забитых, замордованных, но сохраняющих свою исконную безропотность, смиренномудрие, врожденное чувство красоты земли, жизнелюбие, доброту, непритязательность. Он не унижает их снисходительным — сверху вниз — взглядом и не идеализирует их в сусально-народническом духе, не умиляется по-барски незамысловатостью их понятий — он описывает их так же, как и обитателей усадеб, не подбирая иных, «пейзанских» красок. Но он все же любит их, покамест они остаются «детьми» и в них не пробуждается чувство хотя бы недоумения перед очевидной несправедливостью мироустройства, то есть покамест у них не пробуждается самостоятельное человеческое сознание. Тут они становятся для него чуждыми и ненавистными Денисками или людьми вроде Аверкиева зятя из «Худой травы».

Бунин любит изображать людей пожилых и старых, близких ему памятью о прошлом, которое они склонны видеть больше с хорошей стороны, забывая обо всем дурном и жестоком,— близких и своей душевной настроенностью, чувством природы, складом речи, куда более поэтичным, чем у молодых с их развязностью на городской манер, непочтительностью и цинизмом.

Светел и трогателен батрак Аверкий, добр и благороден Захар Воробьев, простодушный и милый деревенский богатырь. Замечателен и портрет своего рода сельской знаменитости стовосьмилетнего Таганка, которого в семье уже забывают накормить или сменить ему рубаху. Образ этой крестьянской старости с ее покинутостью и беззащитностью, с униженной в лице ее самой человеческой природой («За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы»), опять же независимо от воли художника, предъявляет страшный счет обществу, социальному устройству жизни, он взывает к справедливости.

Конечно, это особое пристрастие Бунина к старым людям деревни легко вывести из барского, дворянского представления о гармонических отношениях господ и мужиков в прошлом, которые и ныне, в пору разорения и утраты благообразия деревенской жизни, равно — и мужику и помещику — дороги своей устойчивостью, мудрой простотой, довольством. Но когда перед нами встает со страниц книги исполненный жизни и убе-

дительности образ, мы не обязательно тотчас же «расшифровываем» его «социально-классовую природу» — мы воспринимаем и запоминаем его, он становится частью нашего знания о мире и людях.

Я встречался с героями Бунина как со старыми знакомцами, когда впервые читал его книги — я их уже видел и запечатлел в памяти моего деревенского детства и ранней юности. Видел их я и среди людей деревни в незабываемую пору ее великих потрясений и перемен — в канун п в первые годы коллективизации, разъезжая по своей Смоленщине с корреспондентским удостоверением от газеты. Видел молчаливых и несколько благостных Аверкиев в должностях конюхов, скотников, ночных сторожей; безответных колхозных Однодворок, наделенных непостижимой «двужильностью» и такой ладной бабьей удалью в любой работе и во всех тяготах жизни; беспечных «пустоболтов», табакуров и бездельников Серых и Егоров Минаевых, вечно околачивающихся в конторе правления, любителей сходок, собраний, толчеи и горлодерства на людях; видел «древних деньми» Таганков и Иванушек среди бурного деревенского мира тех лет; конечно, и тех людей новой деревни — энтузиастов, агитаторов и вожаков из самой крестьянской массы, которых Бунин не мог ни видеть, ни предвидеть.

Однако еще в 1903 году Бунин чутким ухом художника хорошо расслышал те новые интонации в крестьянских голосах, которые уже не только не оставляли сомнений относительно противопомещичьих настроений, но были явными признаками предгрозового времени. Достаточно напомнить о таких рассказах, как «Золотое дно» или «Сны», печатавшихся в сборнике «Знание» под общим заглавием «Чернозем» и очень высоко оцененных скупым на похвалы Чеховым.

Свидетельство художника о назревавших в канун революции настроениях крестьянской массы тем более значительно, что художник этот был не только далек от революционных взглядов, но всей душой связан с тем миром помещичьих усадеб, для которых «красные петухи», упомянутые в «Снах», были грозным, памятным со времен пугачевщины знамением.

Чуткость и острота восприятия Буниным процессов, происходивших в деревне в канун, во время и после революции 1905 года, пожалуй, нигде не сказывается в такой недвусмысленности, как в главном произведении его «деревенского цикла» — повести «Деревня».

«Деревня», написанная в 1909—1910 годах, в период наибольшей близости Бунина с Горьким, означила наивысшую степень сближения бунинской музы с современной действительностью в ее реальном развороте.

Повесть эта для читателей и критики, в частности марксистской, явилась неожиданностью, опровергнувшей привычные представления и суждения о Бунине. «Кто бы мог подумать,— писал В. Воровский,— что утонченный поэт, увлекавшийся в последнее время столь далекими от

нашей современности экзотическими картинами Индии... поэт вообще несколько «не от мира сего», по крайней мере не от болящего мира наших дней,— за что, вероятно, и удостоился академических лавров,— и вдруг чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных» господ, пахнущую перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня».

«Деревня» перенасыщена материалом действительности, современным первой русской революции, отголосками общероссийских политических событий, толками, слухами, предположениями, полными бурных надежд и горьких разочарований тех лет. Здесь все: и пылающие вдалеке помещичьи усадьбы, и попытка мужицкого самоуправства в самой Дурновке, принадлежащей теперь Тихону Красову, правнуку крепостного, затравленного борзыми помещика Дурнова; и «озорство» на дорогах, и бегство помещиков в города, и казачьи сотни, вызванные для защиты их, и конституция, и монополия на водку, и рассказы о хитроумных дипломатических маневрах министра «Вити» (Витте), и ночные страхи имущих, и беспечная, разгульная удаль неимущих, и необозримое половодье народного недовольства, медленно входящее в берега «правопорядка».

Густота и плотность жизненного материала в повести поистине необычная и для самого Бунина, и для того классического, как бы замедленного строя повествования, какого он, при всем очевидном своеобразии его письма, держался ранее. Он всегда предпочитал рассказывать о том, что было вчера, что минуло и чему уже подведен какой-то итог,— на всем у него милый его художническому сердцу элегический отпечаток воспоминания. Здесь он словно бы еще и не выбрался из сумятицы и горячки революционной поры, из ее многолюдства и разноголосицы, споров и пересудов. Кажется, что повесть написана в те самые дни и месяцы, а не четыре-пять лет спустя.

В «Деревне» немного героев с именами и прямым участием в событиях, развивающихся в ней,— гораздо больше безымянного сельского и уездного люда, мужиков, покупателей в лавке Тихона Красова, нищих, странников, уездных торговцев, девок и баб на поденщине, ночных сторожей,— и почти все они что-то вспоминают, о чем-то рассказывают, называют множество людей, которые в натуре не появляются на страницах повести.

Сгущение темных красок в изображении деревенской действительности иногда кажется даже переходящим в крайности, в выборочное экспонирование уродств, жестокости, цинизма и кретинизма. Тут и сходные с нравами диких племен примеры сживания со свету стариков в семьях как раз не бедных; и «уступка» жен мужьями по сходной цене; и дикая похвальба «пустоболта» Серого тем, как он хитро выслеживал дочь, «снюхавшуюся» с парнем Егоркой, да и «прихватил», и «всю пояснику ей изрубил» «кнутиком похоженьким», и Егорку заставил жениться.

Было бы несправедливым сказать, что только Бунин, в силу своей принадлежности к дворянскому классу, видел деревню той поры в таком мрачном свете. Младший его современник, писатель из крестьян Иван Вольнов, в своей автобиографической «Повести о днях моей жизни», стремился как бы «перекрыть» Бунина по части всяческих «ужасов» деревенского быта. Конечно, и у Бунина и у Вольнова особая «беспощадность» в показе деревни и мужика в значительной степени была здоровой реакцией на идеализированное и слащавое освещение этого материала в поздненароднической литературе. Но своеобразное полемическое «антибунинское» заострение деревенской темы у Вольнова состояло в утверждении им особых прав на эту тему в литературе: не барину, мол, писать о темных сторонах мужицкого мира, мы тут лучше знаем всю, так сказать, подноготную.

Однако сопоставление бунинской «Деревни» и вольновской «Повести» как художественных свидетельств о «правде деревенской жизни» более выгодно для «барина» Бунина, чем для «мужика» Вольнова.

Первый, при всей его «беспощадности», следуя художественному такту, избегает подавать деревенские «ужасы» в непосредственной картине. Живьем ободранный мужиками бык бегает у Бунина «за сценой», в изустной молве,— это слух, полулегенда той поры «деревенских беспорядков», но не прямое утверждение автора («Ночной разговор»).

У Вольнова же все мужицкие «художества» — дикое пьянство, избиение жен и детей, истязания животных, смертоубийства и т. п.— подаются как зарисовки с натуры, как эпизоды, свидетелем которых был сам автор, ведущий свое повествование от первого лица. И странная вещь: эта «натуральность» ослабляет у читателя впечатление реальности описываемого, подлинности свидетельства. Например, при несомненном соответствии исторической правде в общем смысле, картина погрома барской усадьбы, нагромождения трупов крестьян и охраняющих усадьбу солдат расхолаживает какой-то своей условностью, неправдоподобием.

Это стремление удивить, поразить читателя необычайностью «правды-матки» о деревенской действительности, даже рассмешить его несообразностями и крайней глупостью поступков и речей крестьян долго держалось в приемах изображения деревни нашими так называемыми крестьянскими писателями. Менее других был подвержен этой слабости своеобразного щегольства «мужицким колоритом» суровый и достаточно «беспощадный» С. Подъячев. Но она, эта слабость, с очевидностью сказалась позднее, например, в «Брусках» Ф. Панферова с их натуралистическими излишествами описаний, воспроизведениями местных речений и т. п.

Название повести Бунина соответствует «концепции», высказываемой наставником Кузьмы Красова, уездным чудаком и философом Балашкиным, о том, что Россия вся есть деревня, и, таким образом, безнадежно горькие

судьбы дикой и нищей деревни — это судьбы России. «Повесть моя,— говорил Бунин в своем интервью «Одесскому листку» в 1910 году,— представляет собою картины деревенской жизни, но, кроме жизни деревни, я хотел нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни».

Глубокий пессимизм повести, безрадостные ее картины и подразумеваемые выводы сейчас представляются в значительной степени тогда уже подготовившими автора к разрыву с родиной. В период после «Деревни» он еще напишет много замечательных по мастерству рассказов и много стихов, но некий свой решающий духовный перелом Бунин пережил и выразил в «Деревне».

В ту пору он еще умеет трезво и резко оценивать политическую современность и неприемлемое для него искусство периода реакции. «Часто думалось мне за эти годы,— говорит он в 1914 году,— будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал он, если бы дожил до 3-й, до 4-й Думы, до толков... о Саниных... до гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов, до изломавшихся, изолгавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности, до той свирепой ахинеи, которая читается теперь писателями по городам под видом лекций, до дней славы Пуришкевича, Распутина, Макса Линдера, слона Ямбо и Игоря Северянина».

Позднее, в августе 1917 года, в письме к Горькому он уже склонен себя считать провидцем исторических судеб России под иным знаком: «Чуть не весь день уходит на газеты... И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси».

3

При всем том, что сказано о «деревенских» вещах Бунина, об отразившейся в них ограниченности взглядов автора, они на поверку оказались более долговечными, чем его произведения, посвященные собственно «вечным» темам — любви, смерти. Эта сторона его творчества, получившая преимущественное развитие в эмигрантский период, не составляет в нем того, что принадлежит в литературе исключительно Бунину. Там реализм его делает заметные уступки модернистским поветриям, то есть тому, от чего Бунин в своих высказываниях открещивался до конца дней и чему противостоит все здоровое, земное в произведениях его наиболее продуктивной творческой поры.

Но и во многих лучших вещах, при всем своем эстетическом здоровье, приверженности реалистическим традициям, богатстве жизненного материала, он не свободен от той несколько эстетизированной философичности,

которая невольно сближала его с ненавистным ему «модным» искусством упадка. Уже его ранний рассказ «На край света», посвященный расставанию с родными местами переселенцев, отправляющихся с семьями в далекий, неведомый путь на новые земли, заканчивается характернейшей для Бунина апелляцией к бесконечности вселенной и безмолвию исторической древности.

«И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги. Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти курганы. Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!» Этой красивой концовкой вдруг как бы снимается вся острота ответа на земной вопрос о бедственной крестьянской судьбе, о безмерных народных страданиях.

«Звезды» и «курганы», безмолвно взирающие на муравьиные беды и печали людей, становятся неизменными атрибутами всей бунинской поэзии. Они как бы освобождают сознание художника от ответственности за все неустройства и бедствия рода человеческого, и в том числе за судьбу не только «собирательного», но и «своего батуринского Клима». В самом деле: о чем толковать, о чем хлопотать и тревожиться перед лицом вселенной и вечности, перед лицом неизбежной смерти?

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти,— говорит Бунин в «Жизни Арсеньева».— Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

«Обостренное чувство смерти» именно «в силу столь же обостренного чувства жизни» было, как известно, отнюдь не чуждо и Толстому и Достоевскому. Но оно не освобождало их от обязательств перед «преходящими» бедами и муками людей, от ответственности — пусть своеобразно понимаемой — за судьбы человечества, не служило укрытием для душевного эгоизма, как это было у значительной части русской интеллигенции, в годы реакции после революции 1905 года. У Бунина есть немало общего с настроениями и философией этой интеллигенции.

Основное настроение стихотворной лирики Бунина — элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по Бунину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радостная картина мира неизменно вызывает такое состояние души.

Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста «лирического героя»,— он как бы не сводит глаз с песочных часов

своей жизни, следя за необратимо убегающей струйкой времени. Все ценнейшее, сладчайшее в жизни он видит, только когда оно становится воспоминанием минувшего.

И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила...

Все как было. Только жизнь прошла...

Правда, поэзии Бунина в высшей степени присуще постоянное стремление найти в мире «сочетанье прекрасного и вечного», обрести желанную непреходящесть, укрепиться хотя бы в чувстве вселенского и, так сказать, всевременного единства жизни, слиться с этим единством, раствориться в круговороте природы, в смене бесконечной чреды веков.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет...

В напряженном самовнушении этого чувства слиянности отдельного, личного существования с «вечностью» и «бесконечностью» поэт обращается к образам древности, видит свое «я» обогащенным тысячелетиями, сохранившими на слое пыли в древнеегипетской гробнице следы человеческой ноги...

Смерть и любовь — почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая — может быть, единственное возмещение всех недостач, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни. Но любовь чаще всего непосредственно смыкается со смертью и даже как бы одухотворена ее близостью в своей краткости и обреченности. Любовные сюжеты у Бунина чаще всего разрешаются смертью. Иногда такие развязки любовных историй кажутся даже искусственными, неожиданными эпилогами, как, например, в «Лике».

Бунину представляется пошлым развитие любви в браке, в семье. В той же «Лике» герой со страхом и возмущением думает о возможности появления у них с возлюбленной детей — тут конец любви и вообще «ужас и низость», как в перспективе мелкочиновничьей карьеры, нарисованной поэту в юности старшим братом и заставившей его разрыдаться.

Смерть как завершение любви предпочтительнее «пошлости» возвращения к будничной реальности после «солнечного удара» негаданной встречи или законного брака после первоначальной запретной близости. Любовь, продолжающуюся в браке, даже в старости способной на верность и нежность, Бунин замечает только у простых людей,— например, у батрака Аверкия и его старухи, на руках которой он умирает.

В чеховской «Даме с собачкой», где в самом заглавии объявлено нечто пошловатое, любовная история начинается с заурядного курортного зна-

комства, с незамедлительной близости, которая и не предполагает быть ничем иным, как курортным эпизодом. Но этот эпизод, вопреки обычной, утвержденной в мировой литературе схеме — в начале красота и восторг зарождающегося чувства, в конце скука и пошлость — этот эпизод вырастает в настоящее большое чувство, противостоящее пошлости и ханжеству и бросающее им вызов.

Бунину чуждо подобное решение любовной коллизии, у него любовь по самой своей сути обречена в конце концов либо на пошлость, либо на смерть.

Перед лицом любви и смерти, по Бунину, стираются сами собой социальные, классовые, имущественные грани, разделяющие людей — перед ними все равны. Аверкий из «Худой травы» умирает в углу своей бедной избы; безымянный господин из Сан-Франциско умирает, только что собравшись хорошо пообедать в ресторане первоклассного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одинаково ужасна своей неотвратимостью. Между прочим, когда этот наиболее известный из бунинских рассказов толкуют только в смысле обличения капитализма и символического предвестия его гибели, то как бы упускают из виду, что для автора гораздо важнее мысль о подверженности и миллионера общему концу, о ничтожности и эфемерности его могущества перед лицом одинакового для всех смертных итога.

Суходольская дворовая девушка Наталья, безумно влюбившаяся в молодого барина Петра Петровича, крадет принадлежащее ему зеркальце, крадет, не сознавая своего поступка, и, жестоко наказанная этим же Петром Петровичем, остриженная и с позором отправленная на дальний пустынный хутор пасти гусей, до конца жизни преданно обожает его, молится за него. И здесь главное для Бунина не в бесчеловечной жестокости крепостных времен, хотя он и не смягчает ее, а в этой удивительной способности простой крестьянки на такую большую, безответную и самоотверженную любовь, перед властью которой все равны. Так, барин из «Грамматики любви», влюбленный в свою крепостную и имевший от нее сына, после смерти ее сходит от любви с ума, создает в доме своеобразный культ памяти покойной возлюбленной и умирает с ее именем на устах.

Поздний Бунин в «Митиной любви», в книге «Темные аллеи» и многих рассказах уже нередко с заметной болезненностью и чуждой великим образцам русской литературы натуралистической «пряностью» сосредоточивается на этих неизменных мотивах любви и смерти. Тема любви, при всем мастерстве и отточенности стиля, приобретает порой у Бунина уж очень прямолинейно чувственный характер и выступает в форме эротических мечтаний старости. Тема же смерти все более обволакивается религиозно-мистической окраской.

Разумеется, здесь сказывалась не одна только «социально-классовая природа» поэта. Здесь и возраст, обострявший и без того «обостренное чув-

ство смерти», и модные влияния западной литературы, и особые условия жизни вне родины, отрешенности от больших вопросов народной жизни, наконец, одиночество.

Если есть люди с «обостренным чувством смерти», причем люди, представляющие не обязательно лишь классы, покидающие историческую сцену, то большинство людей на свете, по условиям своей каждодневной жизни, изнурительного труда, озабоченности прокормлением семьи, сведением концов с концами, не всегда могут себе позволить роскошь отвлеченных размышлений о таинстве смерти. Мысли о смерти там неотрывны от опасений за судьбу близких и могут нести в себе лишь горечь жизненных тягот, безнадежности усилий, потраченных на то, чтобы прожить по-человечески. Философические углубления в проблемы смерти как таковой чаще занимают тех, у кого нет иных — больших или малых, но более неотложных задач и забот.

Правда, немалое количество людей, даже и свободных от забот о куске хлеба на завтрашний день, с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности собственного конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере,в удобное для них время. Не думаю, чтобы эти люди представляли собой социалистический идеал духовного развития. Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно — вплоть до предательства. Я не хочу, конечно, сказать, что люди с обостренным чувством смерти во всех случаях лучше людей, лишенных этого чувства. Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, чувство ответственности перед обществом и судом собственной совести за все, что делаешь и должен еще успеть сделать на этом свете,— позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупо отпущенного на все про все времени.

Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания, ни при каком идеальном общественном устройстве и самой счастливой личной судьбе. Но нераздельность человека и человечества, между прочим, выражается и в том, что утверждено народной мудростью: на миру и смерть красна. Какую-то долю — большую или меньшую — этого неизбежного бремени отдельного человека берут на себя его близкие и те «далекие», для которых он честно потрудился на земле и выполнил свой долг перед ними. Наедине с самим собой — понятно, не в смысле физического, а нравственного одиночества — с этим испытанием человеку справляться гораздо труднее. Нужны мостки, которые соединяют одного со всеми или многими, ему подобными, нуждающимися и заслуживающими, как и он, участия и поддержки перед неизбежным порогом — далек ли он, близок ли.

Тема эта сама по себе не только не противопоказана художнику, но можно даже сказать, что ни один из великих так или иначе не обходился без нее в своем творчестве. И раз уж зашла речь об этом предмете, занимающем такое большое место во всей поэзии Бунина, я позволю себе привести здесь две цитаты, может быть, и необязательные для данного изложения, но запечатлевшиеся в памяти, подобно дорогим и незабываемым строчкам стихов, произведениям возвышенной поэтической мысли.

В глубокой старости Лев Толстой, всю жизнь проживший в неотступных и напряженных размышлениях о смерти, записывает в своем дневнике:

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный угол, солнце... И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Такой же поэтической силы полна мысль Достоевского, когда он, словами одного из своих героев, рисует картину возможного в будущем счастья людей, которое будет способно заменить собою иллюзорное прибежище веры в загробную жизнь:

«Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече».

Замечательно, между прочим, что оба эти мужественные и жизнеутверждающие высказывания двух столь различных в своей гениальной индивидуальности писателей как бы подсвечены этими лучами заходящего солнца — образ, обычно привлекаемый в искусстве для выражения идеи конца, печали, прощания.

Среди написанного Буниным в эмиграции много прекрасных в целом произведений или страниц, ради которых можно принять и менее значительные, и даже просто отмеченные знаком возраста, естественного угасания сил художника. Но когда читаешь подряд его вещи эмигрантского периода, то при всем их мастерстве, отделанности, доведенной до высшей степени, невозможно отстранить впечатление, что ты это уже читал раньше, что художник извлекает из своей памяти недосказанные прежде подробности, а иногда и просто повторяется.

Конечно, может быть, здесь сказывается особая острота впечатления от первого знакомства с Буниным, которого я читал и усердно перечитывал

в молодости по его «нивскому» собранию сочинений, но все же нельзя не отметить, что заграничные его вещи отличаются некоторой «обезжиренностью» или дистиллированностью,— это уже не та родниковая вода, выражаясь словами Толстого, от которой зубы ломит. И, в сущности, не удивительно: ведь для него «часы жизни остановились» в смысле пополнения запасов памяти новыми впечатлениями той жизни, которую он только и мог описывать.

Мы, например, еще по дореволюционной автобиографии писателя знаем трогательный эпизод, где юноша Бунин возвращается с почты, перечитывая в полученном там журнале свое первое напечатанное стихотворение, и по дороге через лесок собирает ландыши. Этот же эпизод рассказан с некоторыми изменениями и в «Арсеньеве», и ему же посвящено стихотворение «Ландыш»...

Но это еще не предмет для упрека художнику — могут быть излюбленные мотивы, к которым он не раз и не два возвращается. Хуже, когда он возвращается к написанным вещам, поправляя их в соответствии со своими позднейшими настроениями и взглядами.

«Поправок» и купюр в известных читателю вещах немало в собрании сочинений издательства «Петрополис», вышедшем в 30-х годах. Иногда это одна опущенная или замененная строка, но часто и такие малые, как бы только стилистические, исправления подсказаны очевидным стремлением вытравить в прошлом Бунине элементы демократических оценок явлений и фактов описываемой действительности.

Что же касается вновь написанного в эмиграции, помимо общеизвестных крупных произведений, как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» с их общеизвестными достоинствами и изъянами, помимо таких превосходных рассказов, как «Солнечный удар», там есть вещи, настолько принижающие талант Бунина, что славное литературное имя его обязывает нас оставить их за бортом даже такого вместительного издания, как нынешнее собрание сочинений.

Странно видеть по датам некоторых вещей, что они написаны в такие сложные, полные драматизма периоды в жизни родины поэта, а посвящены порой бог весть каким далеким от всякой жизни темам: «таинственным» любовным причудам, «страшным случаям», анекдотам ушедшего в небытие времени. Такие темы немало занимают места в книге «Темные аллеи» и других рассказах последних лет. И надо всем этим — как застоявшийся дым — тоска безнадежная, болезненное переживание старости, страх смерти, неотступная дума о ней.

Небезызвестный В. Набоков, отрасль знатнейшей и богатейшей в России семьи Набоковых, представитель верхушечной части эмиграции, литератор, пищущий на английском языке, в своей автобиографической книге «Другие берега», переведенной им самим на русский, рассказывает, между прочим, о встречах с Буниным. «Его болезненно занимали теку-

честь времени, старость, смерть...» Со снисходительной иронией сноба и космополита Набоков рассказывает, как Бунин пригласил его в ресторан (это было вскоре после Нобелевской премии) «для задушевной беседы». «К сожалению,— пишет Набоков,— я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед... К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом».

В заключение В. Набоков незаметно переходит на пародирование бунинского стиля, выказывая, как и положено эпигону, незаурядные способности к имитации: «... в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи».

Легко себе представить, на какой холод и отчужденность натолкнулся старый писатель в лице этого младшего своего современника и бывшего соотечественника. Человеку преуспевающему, довольному собой, рисующемуся тем, что, мол, занятия энтомологией, открытие на земном шаре нового, еще одного вида бабочек, составляют больший предмет его честолюбия, чем литература,— этому человеку, отказавшемуся даже от родного языка, не понять было мучительной тоски настоящего поэта по родной земле, ее степям и речкам, перелескам и овражкам, снегам и ранней весенней зелени, по родной речи в ее живом народном звучании.

Это была смертельная тоска, и дело уже представлялось непоправимым — писатель сам углубил разрыв с отчизной. В своих «Воспоминаниях», где, в частности, представлена целая портретная галерея русских советских писателей, он уже спорит не с нами, и не нас критикует, нас просто нет,— и обращается не к русскому, хотя бы даже эмигрантскому читателю, а к некоей третьей стороне, способной принять все дурное и злопыхательское, что можно о нас порассказать в ослеплении старческой раздражительности. Это — крайность падения, и потому так тяжело об этом говорить, сохраняя симпатии и уважение к Бунину.

Нет, дело не просто в том, что этот писатель прожил полжизни в эмиграции. В эмиграции смолоду и до конца дней жили и умерли на чужбине Герцен и Огарев, и эта пора была расцветом их талантов, откликавшаяся славой и почитанием на родине их и во всей Европе. В эмиграции жили целые поколения русских революционеров. В эмиграции много лет жил и работал Ленин.

Все дело в том, что родину можно покидать только ради нее самой, ради ее свободы и всенародного блага. И тогда жизнь вдалеке от нее, самая трудная, не страшна и может давать высочайшее удовлетворение чувством неразрывности с ней. У Бунина такого чувства быть не могло, и последствия этого были губительны для него,— нет надобности быть здесь столь же подробным, как при рассмотрении того Бунина, который

остается для нас выдающимся мастером, достойным своих великих предшественников в русской литературе, приобщившим к достояниям нашей национальной культуры свою заметную и незаменимую долю.

Здесь я так или иначе касался тех сторон творчества Бунина, которые могут в иных случаях вызвать недоумение или внутреннее возражение у нынешнего читателя, особенно у впервые открывающего для себя этого художника. Но даже тогда, когда речь идет не о «мотивах», не об оттенках ущербных настроений Бунина, с наибольшей отчетливостью выступающих в заграничных вещах, но и об отдельных недвусмысленно антидемократических, реакционных его высказываниях, мы не можем теперь просто вычеркнуть их в тексте произведений. Это было бы все равно, что вычеркивать, например, в «Воскресении» Толстого цитаты из Евангелия, приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми.

Однако всему есть предел. Бунинские писания, подобные его дневникам 1917—1919 годов «Окаянные дни», где язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения,— эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих «Днях», не уступающих в контрреволюционности более известным у нас «Дням» Шульгина.

Здесь мы должны были выбирать: либо, отвергая Бунина — реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатывавшегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом; либо, принимая все лучшее в нем, что составляет достояние нашей национальной культуры, нашей русской литературы, отвергнуть все то темное, эгоистическое и антигуманистическое, что он говорил и писал, когда переставал быть художником. Выбор этот давно сделан, и мы по праву сосредоточиваем внимание и интерес на чудесном поэтическом даре Бунина, который, как всякое подлинное явление этого рода, всегда остается не до конца разгаданным, не полностью истолкованным и оттого не менее пленительным.

4

Бунин родился, вырос и определился как художническая натура в том плодородном Подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские

писатели во главе с Тургеневым и Толстым» («Автобиографические заметки»).

У него не было возможности явиться в литературе первооткрывателем неизвестных до него этнографических богатств родного края — ландшафта, народных типов, социально-исторических особенностей, как, например, у Мамина-Сибиряка с его горнорудным и заводским Уралом, где новизна жизненного материала сама по себе имела ценность оригинальности даже при более или менее непритязательной форме. Усадебная, полевая и лесная флора Орловщины, типы мужиков и помещиков этой полосы были не в новинку русской литературе уже со времен «Записок охотника». Но это была его родная полоса, он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумножать его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в натуре и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти родную мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной. Тот мир, который с рождения окружал Бунина, наполнял его дорогими и неповторимыми впечатлениями, уже как бы не принадлежал только ему — он уже был широко открыт и утвержден в искусстве художниками, ранее Бунина воспитанными этим миром. Бунин мог только продолжить их, развивать до крайнего и тончайшего совершенства в деталях, частностях и оттенках великое мастерство своих предшественников. На этом пути меньший талант, чем бунинский, почти с неизбежностью должен был «засахариться», утончиться до эпигонства и формализма. Бунину удалось сказать свое слово, которое не прозвучало в литературе повторением сказанных до него слов о его родной земле, о людях, живших на ней, о времени, которое, правда, не могло не быть у него иным по сравнению со временем, отраженным в творениях его учителей в литературе.

Бесспорная и непреходящая художническая заслуга Бунина прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно, преображенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей

и вопросов. Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины по времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, «Записки охотника».

В наиболее развитом виде эта русская форма связывается с именем Чехова, одного из трех «богов» Бунина в литературе (первые два — Пушкин и Толстой).

Бунин, как и Чехов, в своих рассказах и повестях пленяет читателя иными средствами, чем внешняя занимательность, «загадочность» ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя никогда без его, художника, подсказки. И подсказка эта нисколько не унижает нас, как на экзамене,— она является в форме нашего собственного, совместного с художником открытия. Отсюда — наше повышающее самооценку чувство равенства с художником в чуткости, прозорливости, тонкой догадке. Словом, это и есть тот контакт читателя с писателем, приобщение некоему волнующему секрету, известному только им двоим, которые означают, что их встреча произошла при посредстве настоящего художественного произведения. Кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!» Недаром иногда люди свою способность к восприятию произведений искусства принимают за способность создавать их, и это нередко бывает жизненной драмой человека.

О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее время без некоего идеального образца в прошлом. Художнику дороги те черты его времени, которые связывают это время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают настоящему глубину и прочность. В любой новизне своего времени художник ищет связей с милой его сердцу «стариной». Слабый художник при этом впадает в обычный грех идеализации прошлого и противопоставления его настоящему. У сильного художника лишь обостряется чувство новизны, которая может ему представляться неполноценной, лишенной красоты, уродливой, неправомерной исторически, но она для него — реальность, на которую закрыть глаза он не может.

Идеалом Бунина в прошлом была пора расцвета дворянской культуры, устойчивости усадебного быта, за дымкой времени как бы утрачивавшего характер жестокости, бесчеловечности крепостнических отношений, на которых покоилась вся красота, вся поэзия того времени. Но как бы ни любил он ту эпоху, как бы ни желал родиться и прожить в ней всю свою жизнь, будучи ее плотью и кровью, ее любящим сыном и певцом, как

художник он не мог обходиться одним этим миром сладких мечтаний. Он принадлежал своему времени с его неблагообразием, дисгармоничностью и неуютностью, и мало кому давалась такая зоркость на реальные черты действительности, бесповоротно разрушавшей все красоты мира, бесконечно дорогого ему по заветным семейным преданиям и по образцам искусства.

Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть природы, менее заметно, чем общественная жизнь, изменяющейся во времени и повторяемостью своих явлений создающей иллюзию «вечности» и непреходящести, по крайней мере, хоть этой радости жизни. Отсюда — особо обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии Бунина.

Своих читателей, независимо от того, где они родились и выросли, Бунин делает как бы своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными полями, синей черноземной грязью весенне-осенних и белой, тучной пылью летних степных дорог, с овражками, заросшими дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (ракитами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рощицами в полях и тихими луговыми речками. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в поле.

Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захолустной степной усадьбы, где хрустит ледок, натянутый над вчерашними лужицами, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебряно-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запахов мокрой листвы и лежалых яблок, или в дымную, крутящуюся ночную вьюгу по дороге, утыканной растрепанными соломенными вешками,— все это приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, щемящей сладости личного воспоминания.

Подобно музыке, ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежная игольчатая зелень весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осени; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распустившейся при майском холоде; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерывает строй наших привычных забот и размышлений — значит, все это доходит до нас не впервые и вызывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы краткого возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается чело-

век с его способностью любви к жизни и к людям, к родной земле и самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее.

Бунин — не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы. Он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям...

По части красок, звуков и запахов, «всего того,— выражаясь словами Бунина,— чувственного, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков.

В старости Бунин вспоминал в своей насквозь автобиографической «Жизни Арсеньева»: «...зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...» Поистине «внешние чувства» как средства проникновенного постижения чувственного мира у него были феноменальные от рождения, но еще и необычайно развиты с юных лет постоянным упражнением уже в чисто художнических целях.

Звяканье гайки, ослабшей на конце оси дрожек,— какая это случайная, необязательная мелочь, но из-за этого звука мы запоминаем столь значительный приезд мещанина — арендатора барских садов в разоряющуюся усадьбу, даже забыв его имя. Шум кустов под ветром, «как будто бегущих куда-то»,— именно бегущих куда-то, это и нам так всегда казалось, а Бунин только напомнил,— шум, поразительный по выражению глубокой печали какого-то пастушеского полевого одиночества и сиротства. Отличить «запах росистого лопуха от запаха сырой травы» — это дано далеко не каждому, кто и родился, и вырос, и жизнь прожил у этих лопухов и этой травы, но, услышав о таком различении, тотчас согласится, что оно точно и ему самому памятно.

О запахах в стихах и прозе Бунина стоило бы написать отдельно и подробно — они играют исключительную роль среди других его средств распознавания и живописания мира сущего, места и времени, социальной принадлежности и характера изображаемых людей. Исключительно «душистый», элегически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно навеян автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящике письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов «меда и осенней свежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносится старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.

Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих

временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других,— талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сена, хлебов, огородов и тому подобного,— Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи веничков из перекати-поле, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленного барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; вонючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой... А за выходом из этого деревенского и усадебного мира в города, столицы, заграницы и далекие экзотические моря и земли — еще множество других разительных и памятных запахов.

Эта сторона бунинской выразительности, сообщающая всему, о чем рассказывает писатель, особую натуральность и приметность — во всех планах, от тонко-лирического до едко-саркастического,— прочно прижилась и развивается в нашей современной литературе — у самых разных по природе и таланту писателей.

Правда, можно было бы возразить, что Бунин не является тут первооткрывателем. Уже в 80-х годах прошлого столетия Эдмон Гонкур сетует в «Дневнике» на то, что вслед за «глазом» и «ухом» в литературе появляется «нос» как средство постижения действительности. Он имеет в виду в первую очередь Золя с его «носом охотничьей собаки», принесшего в литературу «антиэстетические» запахи городского рынка и т. п. Однако бунинские «обонятельные» приемы выражения вполне независимы от французского натурализма и никогда не запечатлевают крайностей «неблагоухания».

К слову сказать, современная западная литература, помимо прочих внешних чувств, широко пользуется физиологическим «вкусом» (кажется, это пошло от М. Пруста). Хемингуэй, Ремарк, Генрих Бёлль с утонченной детализацией фиксируют ощущения своих героев при разжевывании пищи, питье, курении. Но здесь уж можно говорить о некоторой замене чувств ощущениями. Бунину это чуждо.

Бунин, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Л. Толстого, знает природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времен года и сад, и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный тракт, обезлюдевший с прокладкой «чугунки». Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под *деревом*,— он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, поле-

вые и садовые, он большой, между прочим, знаток лошадей и их статям, красоте, норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам, особо подкупающий характер невыдуманности, подлинности, неувядаемой ценности художнического свидетельства о земле, по которой он ходил.

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и артистичными картинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе. Человека с его радостями и страданиями как объект изображения ничто не может заменить в искусстве — никакая прелесть одного только предметно-чувственного мира, никакие «красоты природы» сами по себе.

Когда сам Бунин в большом стихотворении «Листопад», именуемом обычно поэмой, в мастерски развернутой сложной метафоре,— лес — терем вдовы Осени перед зимой,— с яркой и даже щеголеватой живописностью дает все краски осеннего леса («лиловый, золотой, багряный»), но ограничивается безотносительным к человеческим делам и думам этой поры настроением красивого увядания и угасания природы, то, как ни хвали эту живопись, она оставляет впечатление какой-то мертвенности, попросту не берет за живое...

Непреходящая художественная ценность «Записок охотника» в том, что автор в них менее всего рассказывает о собственно охотничьих делах и не ограничивается описаниями природы. Чаще всего только по возвращении с охоты — на ночлеге — или по пути на охоту происходят те встречи «охотника» и волнующие истории из народной жизни, которые стали таким незаменимым художественным документом целой эпохи. Из охотничьих же рассказов и очерков иного нашего писателя мы ничего или почти ничего не узнаем о жизни и труде деревень или поселков, в окрестностях которых он охотится и ведет свои тончайшие фенологические наблюдения над дневной и ночной жизнью леса и его обитателей, над повадками своих собак и т. п.

Бунин отлично, с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был таким уж завзятым охотником. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скачет куда-нибудь верхом или бродит пешком — с ружьем или без ружья — в дни одолевающих его раздумий и смятений. Его тянет и в заброшенную усадьбу, и на деревенскую улицу, и в любую избу, и в сельскую лавку, и в кузницу, и на мельницу, и на ярмарку, и на покос к мужикам, и на гумно, где работает молотилка, и на постоялый двор — словом, туда, где люди, где копошится, поет и плачет, бранится и спорит, пьет и ест, справляет свадьбы и поминки пестрая, взбаламученная жизнь поздней пореформенной поры.

О глубоком, пристальном, не из третьих рук полученном знании этой жизни Буниным можно сказать примерно то же, что о его знании на

слух, на нюх и на глаз всякого растения и цветения, заморозков и метелей, весенних распутиц и летних жаров. Таких подробностей, таких частностей народной жизни литература не касалась, полагая, может быть, их уже лежащими за пределами искусства. Бунин, как мало кто до него в нашей литературе, знает житье-бытье, нужды, житейские расчеты и мечтания и мелкопоместного барина, часто стоящего уже на грани самой настоящей бедности, и «оголодавшего» мужика, и тучнеющего, набирающего силу сельского торгаша, и попа с причтом, и мещанина, скупщика или арендатора, шныряющего по деревням в чаянии «оборота», и бедняка учителя, и сельских властей, и барышников, и пришлых с севера, из еще более оголодавших губерний бродячих портных, шорников, косцов, пильщиков. Он показывает быт, жилье, еду и одежду, ухватки и повадки всего этого разношерстного люда в наглядности, порой близкой к натурализму, но как истинный художник всегда знает край, меру — у него нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основой музыке, настроению и мысли рассказа.

Первый признак настоящей доброй прозы — это когда хочется ее прочесть вслух, как стихи, в кругу друзей или близких, знатоков или, наоборот, людей малоискушенных — реакция таких слушателей иногда особенно показательна. Мы можем только пожалеть, что так редко прочитываем вслух рассказ или хотя бы страничку-другую из рассказа, повести, романа наших современников — в кабинете ли редакции, в кругу ли семьи или на дружеской вечеринке. Это у нас как-то даже не принято, и сами прозаики, увы, не настаивают на этом. А ведь в былые времена прозу вслух читал, например, Толстой — «Питомку» В. Слепцова, «Душечку» Чехова, и не по одному разу! Можно вспомнить еще, что рукопись «Бедных людей» Достоевского Григорович с Некрасовым прочли в один присест, чтобы в ту же ночь разбудить молодого автора и поздравить с удачей.

Мы же, не успев прочесть в журнале или книге новую вещь видного прозаика, часто вполне удовлетворены бываем пересказом кого-нибудь из читавших ее и сами пересказываем прочитанное, не испытывая потребности прочесть вслух отрывок. Конечно, этого нельзя объяснить только наличием радио, телевизора и кадров профессиональных чтецов. То, что проза наша лишена такой активной, незаменимой формы распространения, как непрофессиональное чтение вслух, объясняется заметным упадком ее культуры. Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение и с готовностью прощали несовершенство формы, если содержание составляло ценность человеческого документа или новизны жизненного материала. Но подтверждается старая истина, что невнимание писателя к форме способно обернуться невниманием читателя к содержанию.

Использование диалогов для изложения обстоятельств действия и характеристик персонажей, неразличимость авторской речи с речью героев, к стилю которой автор подстраивается, наконец растянутость, раз-

вертывание повести или романа на материале, способном поместиться в небольшом рассказе, и т. д.,— где уж тут читать вслух сходные у разных авторов по письму и языку повествования, амузыкальную, будто с кочки на кочку перескакивающую речь.

Нельзя не остановиться на той отчетливо выраженной у Бунина индивидуальности письма, по какой вообще в русской прозе различаются ее великие мастера — на особой музыкальной организации, если можно так выразиться, этого письма. Мы знаем эту опознавательную в отношении великих наших мастеров особенность: Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитой читатель узнает и отличит на слух с полустраницы, прежде того, как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении, предложения в периоде, периоды в главе, главы в дальнейшем укрупненном членении повествования, которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей. Сколько раз случается видеть, как человек, читающий книгу про себя, чуть заметно шевелит губами и чуть заметно покачивает головой, подчиняясь беззвучному ритму, заключенному в раскрытой перед ним странице. Это почти то же, что музыкант, читающий про себя нотную запись какого-либо сочинения, с которым он знакомится впервые или возобновляет его в памяти.

Эта музыкальная оснастка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизованной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха безотносительно к содержанию — будь то Златовратский или Андрей Белый.

Природа высокой музыкальной организации прозы — в ритмической основе живой человеческой речи со всеми интонациями, соответствующими предмету ее и степени эмоционального наполнения.

В одной из самых ранних вещей Бунина, о которой я уже упоминал в другой связи, в рассказе «На край света», с большим успехом прочитанном автором в Петербурге на литературном вечере в пользу переселенцев, уже с определенностью звучит музыка бунинской прозы.

И главное в этом рассказе, содержащем в себе лишь один-два намека на индивидуальные судьбы,— это вовсе и не рассказ с точки зрения даже свободных понятий жанра,— главное в нем — эта негромкая, сдержанная, но густая, глубокая музыка народной трагедии. Его невозможно цитировать, этот скорбный и торжественно-строгий рассказ, потому что, выбирая из него отдельные строки, прерываешь удивительно целостную его тональность, и сами эти строки, выпадая из нее, утрачивают в своем звучании, деревенеют.

Но это маленький, в три-четыре странички рассказ молодого, в сущности, как мы говорим, начинающего писателя. А вот крупнейшее произведение зрелого таланта — «Деревня». Она уже основной своей музыкой выделяется из всей прозы Бунина. В противоположность различным вариациям лирико-раздумчивой, замедленной и как бы однозвучной инто-

нации других вещей, здесь с первой строки пролога,— краткой мужицкой родословной взят строгий и жесткий ритм: «Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново...» И вся повесть идет в энергическом, нервном, необычном для прежнего Бунина темпе.

Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бунина, превосходного поэта, стихи все же занимают подчиненное положение. Толстой же и Чехов никогда не писали стихов, но кто может отрицать магическую — свою особую у того и другого — музыку их прозаической речи?

Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчеркивал эту музыкальную сторону прозаического письма. В интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит, что вообще не принимает «деления художественной литературы на стихи и прозу». Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи он видит в сближении их основных особенностей и взаимном обогащении: «...поэтический язык (в смысле стихотворный.— *А. Т.*) должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха».

Он и чисто внешним образом подчеркивал принципиальное единство этих двух родов литературы: во многих своих сборниках и даже в «нивском» собрании сочинений он перемежал повести и рассказы стихами. Это могло выглядеть как лишь выражение независимости от тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но для самого Бунина это было и своеобразной декларацией верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, являвшим гениальное совершенство в обоих основных родах литературного творчества. И по существу бунинская стихотворная поэзия, по крайней мере, непосредственно примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим настроением, и сходными средствами образного выражения, и всей словесной фактурой.

Стихи Бунина, при их строгой традиционной форме, густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описаний природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы. В них можно встретить такие немыслимые по канонам «высокой поэзии», прозаические подробности, как *тазы*, подставляемые под капелью с потолка в запущенном барском доме с дырявой крышей («Дворецкий») или «клочья шерсти и помет» на месте волчьих свадеб в зимней степи («Сапсан»).

Однако если вообще проза и стихи являются из двух основных источников всякого настоящего художества — из впечатлений живой жизни

и опыта самого искусства, то о стихах Бунина можно сказать, что они более наглядно, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной классической формы. Не забудем, что Пушкин, Лермонтов и другие русские поэты пришли к Буншну не через посредство школы и даже не через посредство книги самой по себе, а восприняты и впитаны в раннем ребячестве, может быть, еще до овладения грамотой, из поэтической атмосферы родного дома. Они его застали в детской, были семейными святынями, на их портреты он «смотрел, как на фамильные». Поэзия была частью живой действительности детства, влиявшей на душу ребенка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него такую же личную, интимную ценность впечатлений детства, как и окружающая его природа и все «открытия мира», сделанные в этом возрасте.

Только самого раннего Бунина коснулись влияния современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отгораживается от всяческих модных поветрий в поэзии, держась образцов Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оставаясь всегда самобытным.

Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших поэтов его времени, которых он всю жизнь ругательски ругал, оценивая всех вкупе и как бы не видя разницы между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и Гиппиус, Блоком и Городецким.

В развитии русского стиха после застойно-эпигонской поры «конца века» заслуги символистов бесспорны. Они расширили ритмические возможности стиха, много сделали по части его музыкального оснащения, обновления рифмы и т.п. Бунин не смог бы стать тем, чем он стал в поэзии, если бы только буквально следовал классическим образцам. И неверно, когда говорят, что стихи его будто бы ритмически однообразны, однотонны. Он пользуется по преимуществу основными классическими двусложными, реже трехсложными размерами, но он наполняет их таким интонационным и словарным богатством живой «прозаической» речи, что эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим поискам, которые выходят далеко за пределы привычных звучаний, например:

Как все спокойно и как все открыто...

Это ближе всего к уникальному в русской поэзии ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное...».

Или белые стихи, ритмическим строем своим как бы предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:

Набегает впотьмах
И узорною пеною светится,
И лазурным сиянием реет у скал на песке...

А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток...

Можно было бы еще указать на такие неожиданные у Бунина ритмические образцы, как своеобразный трехсложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и мгла...»), как «Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» или «Мужичок» («Ельничком, березничком...»), «Аленушка в лесу жила...» и многие другие. Но главное, конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго представлявшаяся его литературным современникам лишь традиционной и даже «консервативной» по форме, живет и звучит, пережив великое множество стихов, выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной внутреннего достоинства музой сенсационными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно до непристойности.

Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина, как и в его прозе, это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живопись природы.

Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзотического Востока, античности, библейским мотивам или сюжетам древних мифологий, былинно-сказочной русской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной выразительности бунинский язык.

Без похвал этому языку, как, впрочем, и описаниям природы, не обходится ни одно высказывание о Бунине. И хотя обе эти материи в отдельном их изложении способны вызвать убыль читательского внимания, но без них действительно не обойтись, говоря об этом мастере. Рассказывают, что, слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут при чем?» И хотя за этой шуткой чувствуется горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств, но по существу это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа. Однако у писателя не только может, но и должен быть язык иной, чем у других писателей. И сам Бунин умел строго различать и предпочитать язык одних языку других мастеров слова.

«Хороший колоритный язык народа средней полосы России,— говорил он в 1911 году,— я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов, то это я считаю отвратительным варварством».

Нужно отдать должное его объективности, в данном случае в оценке языка. Он приравнивает чуждого ему по идейной направленности Г. Успенского к одному из своих трех «богов» — Л. Толстому.

Язык Бунина — это язык, сложившийся на основе орловско-курского говора, разработанный и освященный в русской литературе целым созвездием писателей — уроженцев этих мест. Язык этот не поражает нас необычностью звучания — даже местные слова и целые выражения выступают в нем уже узаконенными, как бы искони присущими русской литературной речи. И мы, читатели, уроженцы иных областей, обычно с трудом расстающиеся с привычными с детства словечками и речениями родных мест и с неприязнью относящиеся к замене их иными, порожденными в другой языковой стихии, легко принимаем особенности речи Бунина, густо, как и у Тургенева и у Толстого, пересыпанной областническими словами. Нужно сказать, что после справедливой и своевременной критики М. Горьким языковых неряшеств и крайних увлечений областническим словарем в нашей литературе мы так долго и тщательно ограждали ее от «местных речений», просто сводя дело к нивелированию слога в соответствии с омертвелыми понятиями «правильного языка», что добились той нередко удручающей безъязыкости прозы, когда она воспринимается как перевод с иностранного.

Местные слова, употребляемые с тонким уменьем и безошибочным тактом, сообщают стихам и прозе Бунина исключительную земную прелесть и как бы ограждают их от «литературы» — всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишенного теплой крови живого народного языка.

«*Обломный* ливень» — непривычному слуху странен этот эпитет, но сколько в нем выразительной силы, дающей почти физическое впечатление внезапного летнего ливня, что вдруг хлынет потоками на землю, точно с обломившегося под ним неба.

«Листва *муругая*» для большинства читателей как будто бы требует пояснительной сноски — какой это цвет, муругий? Но из целостной картины, нарисованной в небольшом и прекрасном стихотворении «Зазимок», и без пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубняков, гонимой свирепым ветром зазимка.

Точно так же — редкое, почти неизвестное в литературном обиходе слово «*глудки*» совершенно не нуждается в пояснении, когда мы его встречаем на своем месте: «смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней». Но слово-то какое звучное, весомое и образное — без него куда беднее было бы описание зимней дороги.

Занятно, что в цейлонском рассказе «Братья» Бунин называет туземную пирогу уж слишком по-русски — *дубок*, и, однако, это не портит колорита тропического островного побережья: что пирога, что дубок — это долбленная из цельного ствола лодка, и словечко это только как бы напоминает, что этот рассказ, такой далекий по содержанию от орловско-курской земли, пишет русский писатель.

В «Господине из Сан-Франциско» этот певец русских степных просторов, несравненный мастер живописания родной природы, свободно и уверенно ведет за собой читателя по комфортабельным салонам, танцзалам и барам океанского парохода — по тем временам являвшего собой чудо техники. Он спускается с ним к «мрачным и знойным недрам преисподней... подводной утробе парохода... где глухо *гоготали* исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени...»

Попробуйте заменить это простонародное, почти вульгарное слово «гоготали» правильным «хохотали» — и сразу ослабевает адское напряжение этих котлов, устрашающая мощь пламени, от которой содрогается подводная часть корпуса парохода-гиганта, сразу утрачивается сила остальных слов о полуголых людях, загружающих топки углем... А слово то взято опять же из запасов детской и юношеской памяти, из того мира, откуда вышел художник в свои далекие плавания. Эта память в отношении родной речи, картин природы и сельского быта и бездны всяческих подробностей былой жизни у Бунина удивительным образом сохранялась и в течение целых десятилетий, проведенных им вне родины.

Бунина нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисциплину строки — ни одной по́лой или провисающей — каждая, как струна,— за труд, не оставляющий следов труда на его страницах.

В смысле школы, в смысле культуры письма в стихах и прозе молодому русскому, и не только русскому, писателю невозможно миновать Бунина в ряду мастеров, чей опыт попросту обязателен для каждого пишущего. Как бы ни был этот молодой писатель далек от Бунина по своим задаткам и перспективам развития своего дара, в начальной своей поре он должен *пройти* Бунина. Это научит его постоянному чувству великой ценности родной речи, умению отбирать нужные и незаменимые слова, привычке обходиться малым их числом для достижения наибольшей выразительности — короче, уважению к делу, за которое взялся, к делу, требующему неизменной сосредоточенности, и уважению к тем, ради которых делаешь это дело,— к читателям.

Серьезнейшую тревогу внушает беззаботность относительно формы у наших молодых писателей, отчасти поощряемая критикой, отчасти — примером старших товарищей по роду литературы. С ходу пишутся толстенные романы, потому что нет времени написать, довести многократным возвращением к начатому до совершенной отделки, в меру дарования автора, небольшой рассказ. Пишутся огромные поэмы, и чтобы добраться до полноценной строфы или строки, там нужно «перелопачивать» вороха слов, строк и строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой приблизительностью и не-

ряшливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на одной ниточке...

Бунин — по времени последний из классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии. Перо Бунина — ближайший к нам по времени пример подвижнической взыскательности художника, благородной сжатости русского литературного письма, ясности и высокой простоты, чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой формы. Если уж говорить все до конца, так придется сказать и о том, что Бунин иногда бывает чрезмерно густ, как «неразведенный бульон», по замечанию Чехова о ранних его рассказах. Однако опасность излишней сгущенности прозы и стихов нам меньше всего сейчас угрожает, как раз нехватка сгущенности, сжатости, подобранности, экономичности письма — главная наша беда сегодня.

Сочинения И. А. Бунина не могут рассчитывать на безусловный прием у всякого читателя. Читательская масса многослойна, пестра, неоднородна. Для людей, прибегающих к печатной странице как средству только отдыха и отвлечения от каждодневных забот и обязанностей, ищущих в книге хитро завязанного сюжетного узелка, причудливых перекрестий любовной интриги, мелодраматических коллизий и успокоительной округленности концовки, то есть всего того, что отстоит поодаль от реальной серьезной жизни, ее вопросов и требований и широко используется в мировой практике изготовления духовного продукта, который принято называть чтивом,— для таких читателей сочинения Бунина могут и не представить ценной находки, не дошло еще до того. Нужно еще оговориться, что Бунин, конечно, не всегда обладал той магией доходчивости, какая была, скажем, у Чехова, равно пленяющего и самого искушенного, и в самой малой степени подготовленного читателя без привлечения примитивных средств занимательности.

Я не хотел бы здесь быть понятым так, будто я противник вообще занимательности в художественном произведении, сюжетной собранности и насыщенности действием или будто я не знаю у величайших наших художников страниц, исполненных напряженного драматического характера и просто увлекательности в лучшем смысле этого слова. Но я с детских и юношеских лет знавал страстных читателей книг, с уверенностью ставивших «Князя Серебряного» А. К. Толстого или исторические романы Григория Данилевского выше «Войны и мира», да и теперь еще не такая редкость читатель, предпочитающий «Поджигателей» Н. Шпанова «Тихому Дону», хотя, может быть, не всегда высказывающий это свое предпочтение из опасения быть осмеянным.

Бунин — художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, всякий раз решающий для самого себя

пекую задачу, а не приходящий к читателю с готовыми и облегченными построениями подобий жизни. Сосредоточенный и углубленно думающий художник, хотя бы он рассказывал о предметах по первой видимости малозначительных, будничных и заурядных,— такой художник вправе рассчитывать и на сосредоточенность, и даже некоторое напряжение, по крайней мере поначалу, со стороны читателя.

Но это можно считать необходимым условием плодотворного «контакта» читателя с писателем, имея в виду, конечно, не одного Бунина, но всякого подлинного художника.

А. ТВАРДОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

В темнеющих полях, как в безграничном море,
Померк и потонул зари печальный свет —
И мягко мрак ночной плывет в степном просторе
Немой заре вослед.

Лишь суслики во ржи скликаются свистками,
Иль по меже тушкан, таинственно, как дух,
Несется быстрыми, неслышными прыжками
И пропадает вдруг...

1887

* * *

Какая теплая и темная заря!
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя,
Померк над сонными весенними полями,
И мягкими на все ложится ночь тенями,
В вечерние мечты, в раздумье погрузив
Все, от затихших рощ до придорожных ив,
И только вдалеке вечерней тьмой не скрыты
На горизонте грустные ракиты.

Над садом облака нахмурившись стоят;
Весенней сыростью наполнен тихий сад;
Над лугом, над прудом, куда ведут аллеи,
Ночные облака немного посветлее,
Но в чаще, где, сокрыв весенние цветы,
Склонились кущами зеленые кусты,
И темь, и теплота...

1888

* * *

Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.

А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.

1889

* * *

Седое небо надо мной
И лес раскрытый, обнаженный.
Внизу, вдоль просеки лесной,
Чернеет грязь в листве лимонной.

Вверху идет холодный шум,
Внизу молчанье увяданья...
Вся молодость моя — скитанья
Да радость одиноких дум!

1889

В СТЕПИ

Н. Д. Телешову

Вчера в степи я слышал отдаленный
Крик журавлей. И дико и легко
Он прозвенел над тихими полями...
Путь добрый! Им не жаль нас покидать:

И новая цветущая природа,
И новая весна их ожидает
За синими, за теплыми морями,
А к нам идет угрюмая зима:
Засохла степь, лес глохнет и желтеет,
Осенний ветер, тучи нагоняя,
Открыл в кустах звериные лазы,
Листвой засыпал долы и овраги,
И по ночам в их черной темноте,
Под шум деревьев, свечками мерцают,
Таинственно блуждая, волчьи очи...
Да, край родной не радует теперь!
И все-таки, кочующие птицы,
Не пробуждает зависти во мне
Ваш звонкий крик, и гордый и свободный.

Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры,
Когда в степи седой туман ночует,
Когда во мгле рассвет едва белеет
И лишь бугры чернеют сквозь туман.
Но я люблю, кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья —
Моя отчизна; я вернулся к ней,
Усталый от скитаний одиноких,
И понял красоту в ее печали
И счастие — в печальной красоте.

Бывают дни: повеет теплым ветром,
Проглянет солнце, ярко озаряя
И лес, и степь, и старую усадьбу,
Пригреет листья влажные в лесу,
Глядишь — и все опять повеселело!
Как хорошо, кочующие птицы,
Тогда у нас! Как весело и грустно
В пустом лесу меж черными ветвями,
Меж золотыми листьями берез
Синеет наше ласковое небо!
Я в эти дни люблю бродить, вдыхая
Осинников поблекших аромат
И слушая дроздов пролетных крики;
Люблю уйти один на дальний хутор,
Смотреть, как озимь мягко зеленеет,
Как бархатом блестят на солнце пашни,

А вдалеке, на жнивьях золотых,
Стоит туман, прозрачный и лазурный.

Моя весна тогда зовет меня,—
Мечты любви и юности далекой,
Когда я вас, кочующие птицы,
С такою грустью к югу провожал!
Мне вспоминается былое счастье,
Былые дни... Но мне не жаль былого:
Я не грущу, как прежде, о былом,—
Оно живет в моем безмолвном сердце,
А мир везде исполнен красоты.
Мне в нем теперь все дорого и близко:
И блеск весны за синими морями,
И северные скудные поля,
И даже то, что уж совсем не может
Вас утешать, кочующие птицы,—
Покорность грустной участи своей!

1889

ПОДРАЖАНИЕ ПУШКИНУ

От праздности и лжи, от суетных забав
Я одинок бежал в поля мои родные,
Я странником вступил под сень моих дубрав,
Под их навесы вековые,

И, зноем истомлен, я на пути стою
И пью лесных ветров живительную влагу...
О, возврати, мой край, мне молодость мою,
И юных блеск очей, и юную отвагу!

Ты видишь — я красы твоей не позабыл
И, сердцем чист, твой мир благословляю...
Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.

1890

РОДИНЕ

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.

1891

* * *

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело, и важно.

Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут.

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковее греет
В затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И все ей радо.
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И теплый запах талых крыш.

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

1892

* * *

Неуловимый свет разлился над землею,
Над кровлями безмолвного села.
Отчетливей кричат перед зарею
Далеко на степи перепела.

Нет ни души кругом — ни звука, ни тревоги...
Спят безмятежным сном зеленые овсы...
Нахохлясь, кобчик спит на кочке у дороги,
Покрытый пылью матовой росы...

Но уж светлеет даль... Зелено-серебристый,
Неуловимый свет восходит над землей,
И белый пар лугов, холодный и душистый,
Как фимиам, плывет перед зарей.

1894

* * *

Отчего ты печально, вечернее небо?
Оттого ли, что жаль мне земли,
Что туманно синеет безбрежное море
И скрывается солнце вдали?

Отчего ты прекрасно, вечернее небо?
Оттого ль, что далеко земля,
Что с прощальною грустью закат угасает
На косых парусах корабля

И шумят тихим шумом вечерние волны
И баюкают песней своей
Одинокое сердце и грустные думы
В беспредельном просторе морей?

1897

* * *

Беру твою руку и долго смотрю на нее,
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело:
Вот в этой руке — все твое бытие,
Я всю тебя чувствую — душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее быть?
Но Ангел мятежный, весь буря и пламя,
Летящий над миром, чтоб смертною страстью губить,
Уж мчится над нами!

1898

* * *

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала,— луна сияла
В ее окно,— и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди,—
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

1898

ПЛЕЯДЫ

Стемнело. Вдоль аллей, над сонными прудами,
Бреду я наугад.
Осенней свежестью, листвою и плодами
Благоухает сад.

Давно он поредел,— и звездное сиянье
Белеет меж ветвей.
Иду я медленно,— и мертвое молчанье
Царит во тьме аллей.

И звонок каждый шаг среди ночной прохлады.
И царственным гербом
Горят холодные алмазные Плеяды
В безмолвии ночном.

1898

* * *

Таинственно шумит лесная тишина,
Незримо по лесам поет и бродит Осень...
Темнеет день за днем,— и вот опять слышна
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.

«Пусть по ветру летит и кружится листва,
Пусть заметет она печальный след былого!
Надежда, грусть, любовь — вы, старые слова,
Как блеклая листва, не расцветете снова!»

Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль...
Но в шумном ропоте и песне безнадежной
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль,
Укор былой весне, и ласковый, и нежный.

И далеко еще безмолвная зима...
Душа готова вновь волненьям предаваться,
И сладко ей грустить и грустью упиваться,
Не внемля голосу ума.

1898

* * *

Как светла, как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна?
Отчего ты так ласкова стала?

Но молчишь ты, слаба, как цветок...
О, молчи! Мне не надо признанья:
Я узнал эту ласку прощанья,—
Я опять одинок!

1899

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая —
И снова все кругом замрет.

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого ненастья.
Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и злата
Пожаром терем освещал.
Потом угрюмо в нем стемнело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу...

Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине ночной.

Теперь уж тишина другая:
Прислушайся — она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
О, мертвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!
В сребристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,
И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Водя ушастой головой
По сторонам, как в изумленье;
А лес стоит в оцепененье,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой...

Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят,—
Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую ночь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,

Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, все умертвив...

Трубят рога в полях далеких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туриный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит

И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.

Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший,
И скоро мягкою порошей
Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый,
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!
Как будут рады соболя,
И горностаи, и куницы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И завывая в поле зверем.
Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом острове пустом
Повесят инеи сквозные,
И будут в небе голубом
Сиять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,
Заблещет звездный щит Стожар —
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.

1900

ВИРЬ

Где ельник сумрачный стоит
В лесу зубчатым темным строем,
Где старый позабытый скит
Манит задумчивым покоем,

Есть птица Вирь. Ее убор
Весь серо-аспидного цвета,
Головка в хохолке, а взор
Исполнен скорбного привета.

Она так жалостно поет,
С такою нежностью глубокой,
Что, если к скиту забредет
Случайно путник одинокий,

Он не покинет те места:
Лес молчаливый и унылый
И скорбной песни красота
Полны неотразимой силы!

И вот, когда в лесу пустом
Горит заря, а ельник черный
Стоит на фоне золотом
Стеною траурно-узорной,

С какой отрадой ловит он
Все, что зарей еще печальней:
Вечерний колокольный звон,
Напевы женщин в роще дальней,

И гул сосны, и ветерка
Однообразный шелест в чаще...
Невыразима их тоска,
И нет ее больней и слаще!

Когда же лес, одетый тьмой,
Сгустится в ней и тьма сольется
С его могильной бахромой,—
Вирь в темноте тревожно вьется,

В испуге бьется средь ветвей,
Тоскливо стонет и рыдает,
И тем тоскливей, тем грустней,
Чем человек больней страдает...

1900

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

Прошли дожди, апрель теплеет.
Всю ночь — туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зеленый.
И в серебре лесных озер —
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!

1900

СУМЕРКИ

Все — точно в полусне. Над серою водой
Сползает с гор туман, холодный и густой,
Под ним гудит прибой, зловеще разрастаясь,
А темных голых скал прибрежная стена,
В дымящийся туман погружена,
Лениво курится, во мгле небес теряясь.

Суров и дик ее могучий вид!
Под шум и гул морской, она в дыму стоит,
Как неугасший жертвенник титанов,
И Ночь, спускаясь с гор, вступает точно в храм,
Где мрачный хор поет в седых клубах туманов
Торжественный хорал неведомым богам.

1900

* * *

Зеленый цвет морской воды
Сквозит в стеклянном небосклоне,
Алмаз предутренней звезды
Блестит в его прозрачном лоне.

И, как ребенок после сна,
Дрожит звезда в огне денницы,
А ветер дует ей в ресницы,
Чтоб не закрыла их она.

1901

* * *

Зарницы лик, как сновиденье,
Блеснул — и в темноте исчез.
Но увидал я на мгновенье
Всю даль и глубину небес.

Там, в горнем свете, встали горы
Из розоватых облаков,
Там град и райские соборы —
И снова черный пал покров.

Вот задрожал и вспыхнул снова —
И снова блещущий восторг,
Вновь мрак томления земного
Господь десницею расторг.

Не так же ль в радости случайной
Мечта взмахнет порой крылом —
И вдруг блеснет небесной тайной
Все потонувшее в былом?

1901

* * *

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.

На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.

И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет!

На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.

1901

* * *

Еще и холоден и сыр
Февральский воздух, но над садом
Уж смотрит небо ясным взглядом,
И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят
Деревья в лоне небосклона,
И сладко слушать у балкона,
Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что́ в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

1901

НОЧЬ

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного. Вдали
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.

Как письмена, мерцают в тверди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион.
Люблю я их теченье над пустыней
И тайный смысл их царственных имен!

Как ныне я, мирьяды глаз следили
Их древний путь. И в глубине веков
Все, для кого они во тьме светили,
Исчезли в ней, как след среди песков:

Их было много, нежных и любивших,
И девушек, и юношей, и жен,
Ночей и звезд, прозрачно-серебривших
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!

Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта
Юпитер озаряет небеса,
И в зеркале воды, до горизонта,
Столпом стеклянным светит полоса.

Прибрежья, где бродили тавро-скифы,
Уже не те,— лишь море в летний штиль
Все так же сыплет ласково на рифы
Лазурно-фосфорическую пыль.

Но есть одно, что вечной красотою
Связует нас с отжившими. Была
Такая ж ночь — и к тихому прибою
Со мной на берег девушка пришла.

И не забыть мне этой ночи звездной,
Когда весь мир любил я для одной!
Пусть я живу мечтою бесполезной,
Туманной и обманчивой мечтой,—

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и тайного, как сон.
Люблю ее за счастие слиянья
В одной любви с любовью всех времен!

1901

* * *

За все тебя, господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.

Я одинок и ныне — как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нем Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

И счастлив я печальною судьбой
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с тобой.

1901

ВЕСНЯНКА

(Отрывок)

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью,
Среди лесного ропота и шума,
Спешил я, спотыкаясь на коряги
И путаясь меж елок, за Веснянкой.
Она неслась стрелой среди деревьев
И, белая, мелькала в темноте,
Когда зарницу ветром раздувало,
А у меня уж запеклись уста
И сердце трепетало, точно голубь.
«Постой!» — хотел я крикнуть — и не мог.

Мы долго с ней бежали по болоту,
Вдоль озера, вдоль отмели, заросшей
Купавами, травой и камышами,
И наконец я выбился из сил.
Хочу сказать: «Остановись, не бойся!»
Она на миг оглянется — и в путь!
А между тем поднялся ветер,
Деревья недовольно заропотали,
Задвигали мохнатой хвоей ели,
И звезды замелькали из-за них.
Кричу за ней: «Остановись, послушай!
Я все равно до света не отстану,
Ты понапрасну мучишься...» Не слышит!

Вдруг молния всю чащу озарила
Таинственным и бледно-синим светом...
«Стой! — крикнул я.— Лишь слово! Я не трону...»
(Она остановилась на мгновенье.)

«Ответь,— вскричал я,— кто ты? И зачем
Ты здесь со мной встречалась вечерами,
Ждала меня над заводью темневшей,
Где сумрачно и тускло рдели воды?
Зачем со мной ты слушала, грустя,
Далеких песен радость молодую?
Зачем потом, когда они смолкали
И только комары звенели сонно
Да нежно пахло сонною водой,
Ты разбирала ласково мне кудри,
А я глядел с твоих колен в глаза?
Зачем во тьме, когда из тихой рощи
Гремели соловьи, ты наклонялась
К моей щеке горячею щекой
И целовала сладко, осторожно,
А после все томительней и крепче?
Скажи, зачем?..» Она лицо руками
Закрыла вдруг и кинулась вперед.

И долго мы, как звери за добычей,
Опять бежали в роще. Шумный ливень
По темным чащам с громом бушевал,
Даль раскрывали молнии, и ярко
Белело платье девичье... Но вдруг
Оно исчезло, точно провалилось.
Я выскочил с разбега на опушку,
Упал в овес, запутанный и мокрый,
И зарыдал, забился...

1901

* * *

Пока я шел, я был так мал!
Я сам себе таким казался,
Когда хребет далеких скал
Со мною рос и возвышался.

Но на предельной их черте
Я перерос их восхожденье.
Один, в пустынной высоте,
Я чую высших сил томленье.

Земля — подножие мое.
Ее громада поднимает
Меня в иное бытие,
И душу радость обнимает.

Но бездны страх — он не исчез,
Он набегает издалека...
Не потому ль, что одиноко
Я заглянул в лицо небес?

1901

* * *

Не устану воспевать вас, звезды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских дней я робко постигаю
Темных бездн сияющие руны.

В детстве я любил вас безотчетно,—
Сказкою вы нежною мерцали.
В молодые годы только с вами
Я делил надежды и печали.

Вспоминая первые признанья,
Я ищу меж вами образ милый...
Дни пройдут — вы будете светиться
Над моей забытою могилой.

И быть может, я пойму вас, звезды,
И мечта, быть может, воплотится,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться!

1901

* * *

Багряная печальная луна
Висит вдали, но степь еще темна.
Луна во тьму свой теплый отблеск сеет,
И над болотом красный сумрак реет.
Уж поздно — и какая тишина!

Мне кажется, луна оцепенеет:
Она как будто выросла со дна
И допотопной лилией краснеет.

Но меркнут звезды. Даль озарена.
Равнина вод на горизонте млеет,
И в ней луна столбом отражена.
Склонив лицо прозрачное, светлеет
И грустно в воду смотрится она.

Поет комар. Теплом и гнилью веет.

1902

* * *

Чашу с темным вином подала мне богиня печали.
Тихо выпив вино, я в смертельной истоме поник.
И сказала бесстрастно, с холодной улыбкой богиня:
«Сладок яд мой хмельной. Это лозы с могилы любви».

1902

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ

Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря,
В древней могиле, на диком песчаном прибрежье.
Долго трудился он; долго слагал воедино
То, что гробница хранила три тысячи лет, как святыню,
И прочитал он на чаше
Древнюю повесть безмолвных могил и гробниц:

«Вечно лишь море, безбрежное море и небо,
Вечно лишь солнце, земля и ее красота,
Вечно лишь то, что связует незримою связью
Душу и сердце живых с темной душою могил».

<1903>

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу я один — без жены...

Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

<1903>

ОГНИ НЕБЕС

Огни небес, тот серебристый свет,
Что мы зовем мерцаньем звезд небесных, —
Порою только неугасший свет
Уже давно померкнувших планет,
Светил, давно забытых и безвестных.

Та красота, что мир стремит вперед,
Есть тоже след былого. Без возврата
Сгорим и мы, свершая в свой черед
Обычный путь, но долго не умрет
Жизнь, что горела в нас когда-то.

И много в мире избранных, чей свет,
Теперь еще незримый для незрящих,
Дойдет к земле чрез много, много лет...
В безвестном сонме мудрых и творящих
Кто знает их? Быть может, лишь поэт.

<1903—1904>

РАЗЛИВ

Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой зыби,
Сквозь муть лиловых туч румянится заря.
На темном кряже гор, в их сумрачном изгибе,
Померкнули в лесу кресты монастыря.

Оттуда по Оке пахучим дымом тянет...
Но и костер потух, пылавший за Окой,
И монастырь уснул. Темней уже не станет,
Но все же ночь давно — ночь, сумрак и покой.

Лишь брезжится закат на взгорьях сквозь верхушки,
Блестит, как ртуть, вода по лужам на песке,
Дрожит в разливе рябь, да сонные лягушки
Звенят чуть слышно в тростнике.

<1903—1904>

РУССКАЯ ВЕСНА

Скучно в лощинах березам,
Туманная муть на полях,
Конским размокшим навозом
В тумане чернеется шлях.

В сонной степной деревушке
Пахучие хлебы пекут.
Медленно две побирушки
По деревушке бредут.

Там, среди улицы, лужи,
Зола и весенняя грязь,
В избах угар, а снаружи
Завалинки тлеют, дымясь.

Жмурясь, сидит у амбара
Овчарка на ржавой цепи.
В избах — темно от угара,
Туманно и тихо — в степи.

Только петух беззаботно
Весну воспевает весь день.
В поле тепло и дремотно,
А в сердце счастливая лень.

10.I.05

* * *

В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины,
Струится из окна веселый летний свет,
Хрустальным золотом ложась на клавесины,
На ветхие ковры и выцветший паркет.

Вкруг дома глушь и дичь. Там клены и осины,
Приюты горлинок, шиповник, бересклет...
А в доме рухлядь, тлен: повсюду паутины,
Все двери заперты... И так уж много лет.

В глубокой тишине, таинственно сверкая,
Как мелкий перламутр, беззвучно моль плывет.
По стеклам радужным, как бархатка сухая,
Тревожно бабочка лиловая снует.

Но фортки нет в окне, и рама в нем — глухая.
Тут даже моль недолго наживет!

29. VII. 05

* * *

В лесу, в горе, родник, живой и звонкий,
Над родником старинный голубец
С лубочной почерневшею иконкой,
А в роднике березовый корец.

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней, рабской нищеты.
Но этот крест, но этот ковшик белый...
Смиренные, родимые черты!

1905

СТАМБУЛ

Облезлые худые кобели
С печальными, молящими глазами —
Потомки тех, что из степей пришли
За пыльными скрипучими возами.

Был победитель славен и богат,
И затопил он шумною ордою
Твои дворцы, твои сады, Царьград,
И предался, как сытый лев, покою.

Но дни летят, летят быстрее птиц!
И вот уже в Скутари на погосте
Чернеет лес, и тысячи гробниц
Белеют в кипарисах, точно кости.

И прах веков упал на прах святынь,
На славный город, ныне полудикий,
И вой собак звучит тоской пустынь
Под византийской ветхой базиликой.

И пуст Сераль, и смолк его фонтан,
И высохли столетние деревья...
Стамбул, Стамбул! Последний мертвый стан
Последнего великого кочевья!

1905

СТАТУЯ РАБЫНИ-ХРИСТИАНКИ

Не скрыть от дерзких взоров наготы,
Но навсегда я очи опустила:
Не жаль земной, мгновенной красоты,—
Я красоту небесную сокрыла.

<1903—1905>

ТРОПАМИ ПОТАЕННЫМИ

Тропами потаенными, глухими,
В лесные чащи сумерки идут.
Засыпанные листьями сухими,
Леса молчат — осенней ночи ждут.

Вот крикнул сыч в пустынном буераке...
Вот темный лист свалился, чуть шурша...
Ночь близится: уж реет в полумраке
Ее немая, скорбная душа.

<1903—1905>

ДЕНЬ ГНЕВА

Апокалипсис, VI

... И Агнец снял четвертую печать.
И услыхал я голос, говоривший:
«Восстань, смотри!» И я взглянул: конь бледен,
На нем же мощный всадник — Смерть. И Ад
За нею шел, и власть у ней была
Над четвертью земли, да умерщвляет
Мечом и гладом, мором и зверями.

И пятую он снял печать. И видел
Я под престолом души убиенных,
Вопившие: «Доколе, о владыко,
Не судишь ты живущих на земле
За нашу кровь?» И были им даны
Одежды белоснежные, и было
Им сказано: да почиют, покуда
Сотрудники и братья их умрут,
Как и они, за словеса господни.

Когда же снял шестую он печать,
Взглянул я вновь, и вот — до оснований
Потрясся мир, и солнце стало мрачно,
Как вретище, и лик луны — как кровь;
И звезды устремились вниз, как в бурю
Незрелый плод смоковницы, и небо
Свилось, как свиток хартии, и горы,
Колеблясь, с места двинулись; и все
Цари земли, вельможи и владыки,
Богатые и сильные, рабы
И вольные — все скрылися в пещеры,
В ущелья гор, и говорят горам
И камням их: «Падите и сокройте
Нас от лица сидящего во славе
И гнева Агнца: ибо настает
Великий день его всесильной кары!»

<1903—1905>

ГРОБНИЦА САФИИ

Горный ключ по скатам и оврагам,
Полусонный, убегает вниз.
Как чернец над белым саркофагом,
В синем небе замер кипарис.

Нежные, как девушки, мимозы
Льют под ним узор своих ветвей,
И цветут, благоухают розы
На кустах, где плачет соловей.

Ниже — дикий берег и туманный,
Еле уловимый горизонт:
Там простор воздушный и безгранный,
Голубая бездна — Геллеспонт.

Мир тебе, о юная! Смиренно
Я целую белое тюрбэ:
Пять веков бессмертна и нетленна
На Востоке память о тебе.

Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.
Но стократ счастливей тот, чей прах
Веру в жизнь бессмертную вселяет
И цветет легендами в веках!

<1903—1905>

ЭСХИЛ

Я содрогаюсь, глядя на твои
Черты немые, полные могучей
И строгой мысли. С древней простотой
Изваян ты, о старец. Бесконечно
Далеки дни, когда ты жил, и мифом
Теперь те дни нам кажутся. Ты страшен
Их древностью. Ты страшен тем, что ты,
Незримый в мире двадцать пять столетий,
Незримо в нем присутствуешь доныне,
И пред твоею славой легендарной
Бессильно Время.— Рок неотвратим,
Все в мире предначертано Судьбою,

И благо поклоняющимся ей,
Всесильной, осудившей на забвенье
Дела всех дел. Но ты пред Адрастеей
Склонил чело суровое с таким
Величием, с такою мощью духа,
Какая подобает лишь богам
Да смертному, дерзнувшему впервые
Восславить дух и дерзновенье смертных!

⟨1903—1906⟩

ЗОЛОТОЙ НЕВОД

Волна ушла — блестят, как золотые,
На солнце валуны.
Волна идет — как из стекла литые,
Идут бугры волны.

По ним скользит, колышется медуза,
Живой морской цветок...
Но вот волна изнемогла от груза
И пала на песок,

Зеркальной зыбью блещет и дробится,
А солнце под водой
По валунам скользит и шевелится,
Как невод золотой.

⟨1903—1906⟩

МУДРЫМ

Герой — как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.

А трус — живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком.
О да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:
Как огонек под кизяком.

⟨1903—1906⟩

СВЯЩЕННЫЙ ПРАХ

Пыль, по которой Гавриил
Свой путь незримый совершает
В полночный час среди могил,
Целит и мертвых воскрешает.

Прах, на который пала кровь
Погибших в битве за свободу,
Благоговенье и любовь
Внушает мудрому народу.

Прильни к нему, благослови
Миг созерцания святыни —
И в битву мести и любви
Восстань, как ураган пустыни.

⟨1903—1906⟩

ЗЕЙНАБ

Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин:
Чем душнее в палатках пустыни,
Чем стремительней дует палящий хамсин,
Тем вода холоднее в кувшине.

Зейнаб, свежесть очей! Ты строга и горда:
Чем безумнее любишь — тем строже.
Но сладка, о, сладка ледяная вода,
А для путника — жизни дороже!

⟨1903—1906⟩

МАГОМЕТ В ИЗГНАНИИ

Духи над пустыней пролетали
В сумерки, над каменистым логом.
Скорбные слова его звучали,
Как источник, позабытый богом.

На песке, босой, с раскрытой грудью,
Он сидел и говорил, тоскуя:
«Предан я пустыне и безлюдью,
Отрешен от всех, кого люблю я!»

И сказали Духи: «Недостойно
Быть пророку слабым и усталым».
И пророк печально и спокойно
Отвечал: «Я жаловался скалам».

1906

* * *

Геймдаль искал родник божественный.
Геймдаль, ты мудрости алкал —
И вот настал твой час торжественный
В лесах, среди гранитных скал.

Они молчат, леса полночные,
Ручьи, журча, едва текут,
И звезды поздние, восточные
Их вещий говор стерегут.

И шлем ты снял — и холод счастия
По волосам твоим прошел:
Миг обрученья, миг причастия
Как смерть был сладок и тяжел.

Теперь ты мудр. Ты жаждал знания —
И все забыл. Велик и прост,
Ты слышишь мхов произрастание
И дрожь земли при свете звезд.

1906

ДЖОРДАНО БРУНО

«Ковчег под предводительством осла —
Вот мир людей. Живите во Вселенной.
Земля — вертеп обмана, лжи и зла.
Живите красотою неизменной.

Ты, мать-земля, душе моей близка —
И далека. Люблю я смех и радость,
Но в радости моей — всегда тоска,
В тоске всегда — таинственная сладость!»

И вот он посох странника берет:
Простите, келий сумрачные своды!
Его душа, всем чуждая, живет
Теперь одним: дыханием свободы.

«Вы все рабы. Царь вашей веры — Зверь:
Я свергну трон слепой и мрачной веры.
Вы в капище: я распахну вам дверь
На блеск и свет, в лазурь и бездну Сферы.

Ни бездне бездн, ни жизни грани нет.
Мы остановим солнце Птолемея —
И вихрь миров, несметный сонм планет,
Пред нами развернется, пламенея!»

И он дерзнул на все — вплоть до небес.
Но разрушенье — жажда созиданья,
И, разрушая, жаждал он чудес —
Божественной гармонии Созданья.

Глаза сияют, дерзкая мечта
В мир откровений радостных уносит.
Лишь в истине — и цель и красота.
Но тем сильнее сердце жизни просит.

«Ты, девочка! ты, с ангельским лицом,
Поющая над старой звонкой лютней!
Я мог твоим быть другом и отцом...
Но я один. Нет в мире бесприютней!

Высоко нес я стяг своей любви.
Но есть другие радости, другие:
Оледенив желания свои,
Я только твой, познание — София!»

И вот опять он странник. И опять
Глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго
Его лицо. Враги, вам не понять,
Что бог есть Свет. И он умрет за бога.

«Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут богом — жизнью, красотою.
Живя и умирая, мы живем
Единою, всемирною Душою.

Ты, с лютнею! Мечты твоих очей
Не эту ль Жизнь и Радость отражали?
Ты, солнце! вы, созвездия ночей!
Вы только этой Радостью дышали».

И маленький тревожный человек
С блестящим взглядом, ярким и холодным,
Идет в огонь. «*Умерший в рабский век*
Бессмертием венчается — в свободном!

Я умираю — ибо так хочу.
Развей, палач, развей мой прах, презренный!
Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —
Он мысль мою развеет по Вселенной!»

⟨1906⟩

ХРАМ СОЛНЦА

Шесть золотистых мраморных колонн,
Безбрежная зеленая долина,
Ливан в снегу и неба синий склон.

Я видел Нил и Сфинкса-исполина,
Я видел пирамиды: ты сильней,
Прекрасней, допотопная руина!

Там глыбы желто-пепельных камней,
Забытые могилы в океане
Нагих песков. Здесь радость юных дней.

Патриархально-царственные ткани —
Снегов и скал продольные ряды —
Лежат, как пестрый талес, на Ливане.

Под ним луга, зеленые сады
И сладостный, как горная прохлада,
Шум быстрой малахитовой воды.

Под ним стоянка первого Номада.
И пусть она забвенна и пуста:
Бессмертным солнцем светит колоннада.

В блаженный мир ведут ее врата.

Баальбек, 6. V. 07

ТРЯСИНА

Болото тихой северной страны
В осенних сумерках таинственней погоста.
Цветут цветы. Мы не поймем их роста
Из заповедных недр, их сонной глубины.

Порой, грустя, мы вспоминаем что-то...
Но что? Мы и земле и богу далеки...
В гробах трясин родятся огоньки...
Во тьме родится свет... Мы — огоньки болота.

<1906—1907>

ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ПЕСНЕЙ

ДЕВИЧЬЯ

Свежий ветер дует в сумерках
На скалистый островок.
Закачалась чайка серая
Под скалой, как поплавок.

Под крыло головку спрятала
И забылась в полусне.
Я бы тоже позабылася
На качающей волне!

Поздно ночью в саклю темную
Грусть и скуку принесешь.
Поздно ночью с милым встретишься,
Да и то когда заснешь!

<1906—1907>

РЫБАЦКАЯ

Летом в море легкая вода,
Белые сухие паруса,
Иглами стальными в невода
Сыплется под баркою хамса.

Осенью не весел Трапезонд!
В море вьюга, холод и туман,
Ходит головами горизонт,
В пену зарывается бакан.

Тяжела студеная вода,
Буря в ночь осеннюю дерзка,
Да на волю гонит из гнезда
Лютая голодная тоска!

<1906—1907>

ИЕРИХОН

Скользят, текут огни зеленых мух.
Над Мертвым морем знойно и туманно
От блеска звезд. Песок вдали — как манна,
И смутный гул, дрожа, колдует слух.

То ропот жаб. Он длится неустанно,
Зовет, томит... Но час полночный глух.
Внимает им, быть может, только Дух
Среди камней в пустыне Иоанна.

Там, между звезд, чернеет острый пик
Горы Поста. Чуть теплится лампадка.
Внизу истома. Приторно и сладко

Мимозы пахнут. Сахарный тростник
Горит от мух... И дремлет Лихорадка,
Под жабий бред откинув бледный лик.

14. VIII. 08

ХУДОЖНИК

Хрустя по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью... За новым белым домом
Хребет Яйлы и близок и тяжел.

Томясь от зноя, грифельный журавль
Стоит в кусте. Опущена косица,
Нога — как трость... Он говорит: «Что́, птица?
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»

Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его — как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадилом сходит толстый поп,
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,
Защелкает, взовьется от забора —
И ну плясать и стукать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссе несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль... Все прочее есть гиль».

1908

СОБАКА

Мечтай, мечтай. Все у́же и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами
На вьюжный двор, на снег, прилипший к раме,
На метлы гулких, дымных тополей.

Вздыхая, ты свернулась потеплей
У ног моих — и думаешь... Мы сами
Томим себя — тоской иных полей,
Иных пустынь... за пермскими горами.

Ты вспоминаешь то, что чуждо мне:
Седое небо, тундры, льды и чумы
В твоей студеной дикой стороне.

Но я всегда делю с тобою думы:
Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

4. VIII. 09

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

14. VIII. 09

* * *

Мелькают дали, черные, слепые,
Мелькает океана мертвый лик:
Бог разверзает бездны голубые,
Но лишь на краткий миг.

«Да будет свет!» Но гаснет свет, и сонный,
Тяжелый гул растет вослед за ним:
Бог, в довременный хаос погруженный,
Мрак сотрясает ропотом своим.

26. II. 11

ЗОВ

Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое
И сети зыбких вант,— как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски,
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья

Велят они вставать — в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду.
В родные гавани вовеки я не вниду,
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,
Все будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана;
Да чутко встану я на голос Капитана!

8. VII. 11

ПСКОВСКИЙ БОР

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам,

Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом
И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

23. VII. 12

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

«Дай мне звезду,— твердит ребенок сонный,—
Дай, мамочка...» Она, обняв его,
Сидит с ним на балконе, на ступеньках,
Ведущих в сад. А сад, степной, глухой,
Идет, темнея, в сумрак летней ночи,
По скату к балке. В небе, на востоке,
Краснеет одинокая звезда.

«Дай, мамочка...» Она с улыбкой нежной
Глядит в худое личико: «Что, милый?»
«Вон ту звезду...» — «А для чего?» — «Играть...»

Лепечут листья сада. Тонким свистом
Сурки в степи скликаются. Ребенок
Спит на колене матери. И мать,
Обняв его, вздохнув счастливым вздохом,
Глядит большими грустными глазами
На тихую далекую звезду...

Прекрасна ты, душа людская! Небу,
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанью звезд подобна ты порой!

1. VIII. 12

ПОТОМКИ ПРОРОКА

Не мало царств, не мало стран на свете.
Мы любим тростниковые ковры,
Мы ходим не в кофейни, а в мечети,
На солнечные тихие дворы.

Мы не купцы с базара. Мы не рады,
Когда вступает пыльный караван
В святой Дамаск, в его сады, ограды:
Нам не нужны подачки англичан.

Мы терпим их. Но ни одежды белой,
Ни белых шлемов видеть не хотим.
Написано: чужому зла не делай,
Но и очей не подымай пред ним.

Скажи привет, но помни: ты в зеленом.
Когда придут, гляди на кипарис,
Гляди в лазурь. Не будь хамелеоном,
Что по стене мелькает вверх и вниз.

VIII. 12

РИТМ

Часы, шипя, двенадцать раз пробили
В соседней зале, темной и пустой,
Мгновения, бегущие чредой
К безвестности, к забвению, к могиле,

На краткий срок свой бег остановили
И вновь узор чеканят золотой:
Заворожен ритмической мечтой,
Вновь отдаюсь меня стремящей силе.

Раскрыв глаза, гляжу на яркий свет
И слышу сердца ровное биенье,
И этих строк размеренное пенье,
И мыслимую музыку планет.

Все ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленья нет.

9. VIII. 12

ЗАВЕТ САДИ

Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Трапезонд, VI. 13

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

7. I. 15
Москва

ПОЭТУ

В глубоких колодцах вода холодна,
И чем холоднее, тем чище она.
Пастух нерадивый напьется из лужи
И в луже напоит отару свою,
Но добрый опустит в колодец бадью,
Веревку к веревке привяжет потуже.

Бесценный алмаз, оброненный в ночи,
Раб ищет при свете грошовой свечи,
Но зорко он смотрит по пыльным дорогам,
Он ковшиком держит сухую ладонь,
От ветра и тьмы ограждая огонь —
И знай: он с алмазом вернется к чертогам.

27. VIII. 15
Васильевское

* * *

Ты, светлая ночь, полнолунная высь!
Подайся, засов,— распахнись,
Тяжелая дверь, на морозный простор,
На белый сияющий двор!

Ты, звонкая ночь, сребролунная даль!
Ах, если б не крепкая паль,
Не ржавый замок, не лихой волкодав,
Не батюшкин ласковый нрав!

24. I. 16

* * *

Лиман песком от моря отделен.
Когда садится солнце за Лиманом,
Песок бывает ярко позлащен.

Он весь в рыбалках. Белым караваном
Стоят они на грани вод, на той,
Откуда веет ветром, океаном.

В лазури неба, ясной и пустой,
Та грань чернеет синью вороненой
Из-за косы песчано-золотой.

И вот я слышу ропот отдаленный:
Навстречу крепкой свежести воды,
Вдыхая ветер, вольный и соленый,

Вдруг зашумели белые ряды
И, стоя, машут длинными крылами...
Земля, земля! Несчетные следы

Я на тебе оставил. Я годами
Блуждал в твоих пустынях и морях.
Я мерил неустанными стопами

Твой всюду дорогой для сердца прах:
Но нет, вовек не утолю я муки —
Любви к тебе! Как чайки на песках,

Опять вперед я простираю руки.

6. II. 16

ЗЕРКАЛО

Темнеет зимний день, спокойствие и мрак
Нисходят на́ душу — и все, что отражалось,
Что было в зеркале, померкло, потерялось...
Вот так и смерть, да, может быть, вот так.

В могильной темноте одна моя сигара
Краснеет огоньком, как дивный самоцвет;
Погаснет и она, развеется и след
Ее душистого и тонкого угара...

Кто это заиграл? Чьи милые персты,
Чьи кольца яркие вдоль клавиш побежали?
Душа моя полна восторга и печали —
Я не боюсь могильной темноты.

10. II. 16

В ГОРАХ

Поэзия темна, в словах не выразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат,
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!

Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!»
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, с тоской я проезжаю мимо.

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

12. II. 16

* * *

Край без истории... Все лес да лес, болота,
Трясины, заводи в ольхе и тростниках,
В столетних яворах... На дальних облаках —
Заката летнего краса и позолота,
Вокруг тепло и блеск. А на низах уж тень,
Холодный сивый дым... Стою, рублю кремень,
Курю, стираю пот... Жар стынет — остро, сыро
И пряно пахнет глушь. Невидимого клира
Тончайшие поют и ноют голоса,
Столбом толчется гнус, таинственно и слабо
Свистят в куге ужи... Вот гаснет полоса
Чуть греющих лучей, вот заквохтала жаба
В дымящейся воде... Колтунный край древлян,
Русь киевских князей, медведей, лосей, туров,
Полесье бортников и черных смолокуров —
И теплых сумерек краснеющий шафран.

16. VII. 16

ПОСЛЕДНИЙ ШМЕЛЬ

Черный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной,
Ты зачем залетаешь в жилье человечье
И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники ярки,
Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди — и в засохшей татарке,
На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!

26. VII. 16

ПОМПЕЯ

Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только римские следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

28. VIII. 16

КОБЫЛИЦА

Я снял узду, седло — и вольно
Она метнулась от меня,
А я склонился богомольно
Пред солнцем гаснущего дня.

Она взмахнула легкой гривой
И, ноздри к ветру обратив,
С тоскою нежной и счастливой
Кому-то страстный шлет призыв.

Едины божии созданья,
Благословен создавший их
И совместивший все желанья
И все томления — в моих.

<3. II. 16>

НА ИСХОДЕ

Ходили в мире лже-Мессии,—
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам их в литургии
И речь — бряцающий кимвал.

Своекорыстные пророки,
Лжецы и скудные умы!
Звезда, что будет на востоке,
Еще среди глубокой тьмы.

Но на исходе сроки ваши:
Вновь проклят старый мир — и вновь
Пьет сатана из полной чаши
Идоложертвенную кровь!

<6. II. 16>

ГОЛУБЬ

Белый голубь летит через море,
Через сине-зеленое море,
Белый голубь Киприды завидел,
Что стоишь ты на жарком песке,
Что кипит белоснежная пена
По твоим загорелым ногам,
Он пернатой стрелою несется
Из-за волн, где грядой голубою
Тают в солнечной мгле острова,
Долетев, упадает в восторге
На тугие холодные груди,
Орошенные пылью морской,
Трепеща, он уста твои ищет,
А горячее солнце выходит
Из прозрачного облака, зноем,
Точно маслом, тебя обливает —
И Киприда с божественным смехом
Обнимает тебя выше бедр.

<1916>

* * *

Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны,
Черный ряд кипарисов в квадрате высокой стены,
Белизна мавзолеев, блестящих на солнце кругом,
Зимний холод мистраля, пригретый весенним теплом,
Шум и свежесть валов, что, как сосны, шумят за стеной,
И небес гиацинт в снеговых облаках надо мной.

29. VIII. 17

ЛАНДЫШ

В голых рощах веял холод...
Ты светился меж сухих,
Мертвых листьев... Я был молод,
Я слагал свой первый стих —

И навек сроднился с чистой
Молодой моей душой
Влажно-свежий, водянистый,
Кисловатый запах твой!

19. IX. 17

СВЕТ НЕЗАКАТНЫЙ

Там, в полях, на погосте,
В роще старых берез,
Не могилы, не кости —
Царство радостных грез.
Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей —
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятье —
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
Где и я был иной?

В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, былого
Нет давно и меня!

24. IX. 17

* * *

О радость красок! Снова, снова
Лазурь сквозь яркий желтый сад
Горит так дивно и лилово,
Как будто ангелы глядят.

О радость радостей! Нет, знаю,
Нет, верю, господи, что ты
Вернешь к потерянному раю
Мои томленья и мечты!

24. IX. 17

* * *

Ранний, чуть видный рассвет,
Сердце шестнадцати лет.

Сада дремотная мгла
Липовым цветом тепла.

Тих и таинственен дом
С крайним заветным окном.

Штора в окне, а за ней
Солнце вселенной моей.

27. IX. 17

* * *

Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,
И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капели,
Бледна была твоя щека,
И как цветы глаза синели.

Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
Но был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

28. IX. 17

* * *

Щеглы, их звон, стеклянный, неживой,
И клен над облетевшею листвой,
На пустоте лазоревой и чистой,
Уже весь голый, легкий и ветвистый...
О, мука мук! Что надо мне, ему,
Щеглам, листве? И разве я пойму,
Зачем я должен радость этой муки,
Вот этот небосклон, и этот звон,
И темный смысл, которым полон он,
Вместить в созвучия и звуки?
Я должен взять — и, разгадав, отдать,
Мне кто-то должен сострадать,
Что пригревает солнце низким светом
Меня в саду, просторном и раздетом,
Что озаряет желтая листва
Ветвистый клен, что я едва-едва,
Бродя в восторге по саду пустому,
Мою тоску даю понять другому...
— Беру большой зубчатый лист с тугим
Пурпурным стеблем,— пусть в моей тетради
Останется хоть память вместе с ним
Об этом светлом вертограде
С травой, хрустящей белым серебром,
О пустоте, сияющей над кленом
Безжизненно-лазоревым шатром,
И о щеглах с хрустально-мертвым звоном!

3. X. 17

* * *

Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я,—
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,
В свежем парке листьев медленным паденьем
И тобой, знакомая, старая скамья.

Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным,— призраком чудесным
В этом парке розовом, в этой тишине.

10. X. 17

* * *

Как в апреле по ночам в аллее,
И все тоньше верхних сучьев дым,
И все легче, ближе и виднее
Побледневший небосклон за ним.

Этот верх в созвездьях, в их узорах,
Дымчатый, воздушный и сквозной,
Этих листьев под ногами шорох,
Эта грусть — все то же, что весной.

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду.

10. X. 17

* * *

Звезда дрожит среди вселенной...
Чьи руки дивные несут
Какой-то влагой драгоценной
Столь переполненный сосуд?

Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных слез
Зачем, о господи, над миром
Ты бытие мое вознес?

22. X. 17

* * *

В пустом, сквозном чертоге сада
Иду, шумя сухой листвой:
Какая странная отрада
Былое попирать ногой!
Какая сладость все, что прежде
Ценил так мало, вспоминать!
Какая боль и грусть — в надежде
Еще одну весну узнать!

<3. X. 17>

* * *

В дачном кресле, ночью, на балконе...
Океана колыбельный шум...
Будь доверчив, кроток и спокоен,
Отдохни от дум.

Ветер приходящий, уходящий,
Веющий безбрежностью морской...
Есть ли тот, кто этой дачи спящей
Сторожит покой?

Есть ли тот, кто должной мерой мерит
Наши знанья, судьбы и года?
Если сердце хочет, если верит,
Значит — да.

То, что есть в тебе, ведь существует.
Вот ты дремлешь, и в глаза твои
Так любовно мягкий ветер дует —
Как же нет Любви?

9. VII. 18

* * *

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

14. VII. 18

* * *

Огонь, качаемый волной
В просторе темном океана...
Что мне до звездного тумана,
До млечной бездны надо мной!

Огонь, по прихоти волны
Вдали качаемый, печальный...
Что мне до неба, до хрустальной,
Огнями полной вышины!

24. IX. 18

* * *

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

25. VI. 22

* * *

Печаль ресниц, сияющих и черных,
Алмазы слез, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз,
Счастливых, радостных, смиренных,—
Все помню я... Но нет уж в мире нас,
Когда-то юных и блаженных!

Откуда же являешься ты мне?
Зачем же воскресаешь ты во сне,
Несрочной прелестью сияя,
И дивно повторяется восторг,
Та встреча, краткая, земная,
Что бог нам дал и тотчас вновь расторг?

27. VIII. 22

1885 ГОД

Была весна, и жизнь была легка.
Зияла адом свежая могила,
Но жизнь была легка, как облака,
Как тот дымок, что веял из кадила.

Земля, как зацветающая новь,
Блаженная, лежала предо мною —
И первый стих, и первая любовь
Пришли ко мне с могилой и весною.

И это ты, простой степной цветок,
Забытый мной, отцветший и безвестный,
На утре дней моих попрала смерть, как бог,
И увела в мир вечный и чудесный!

9. IX. 22

ДОЧЬ

Все снится: дочь есть у меня,
И вот я, с нежностью, с тоской,
Дождался радостного дня,
Когда ее к венцу убрали,
И сам, неловкою рукой,
Поправил газ ее вуали.

Глядеть на чистое чело,
На робкий блеск невинных глаз
Мне почему-то тяжело,
Но все ж бледнею я от счастья,
Крестя ее в последний час
На это женское причастье.

Что снится мне потом? Потом
Она уж с *ним*,— как страшен он! —
Потом мой опустевший дом —
И чувством молодости странной,
Как будто после похорон,
Кончается мой сон туманный.

7. VI. 23

* * *

«Опять холодные седые небеса,
Пустынные поля, набитые дороги,
На рыжие ковры похожие леса,
И тройка у крыльца, и слуги на пороге...»

— Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в те года гневить печалью бога?
Уж больше не писать мне этого «опять»
Перед счастливою осеннею дорогой!

7. VI. 23

НОЧЬ

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

1952

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева,— с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город,— непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта,— делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная

соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога»,— косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а понева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою.— Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг

костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин.— Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад,

наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «бо́гатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу — первый признак богатой деревни,— и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да,— вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка,— явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать,— виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками,— все о чем-то думает. «О добре своем небось»,— говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Понева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая,— «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал:

сама купила себе на могилку, так же как и саван,— отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пунь-ках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой,— так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти,— очень недавно,— имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется,— так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики,— совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне,— зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада,— ветви лип обнимали его,— был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет,— так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами *глаз,— окнами с перламутровыми* от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца,— два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки,— антонов-

ские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка»,— а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас,— крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть

на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика:

Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю,— по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя,— и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под

ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги,— дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения,— рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза,— точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачныя крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастного!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту,

мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял,—

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900

ДЕРЕВНЯ

I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахору тобаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой,— «не плохо, ничего не разбрешет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться:

торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но — по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать,— нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь,— от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками,— желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил,— эмирский бухар какой!

Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку,— темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

— У-ух! И здорова́ же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхальным табаком?

— Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нонешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почем?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почем?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.

— Нет-с, уж я своего добьюсь,— говорил он знакомым.— Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это,— одна приспала, другая все мертвых рожает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка,— так смирно и ласково-грустно,— темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал:

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя

мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитятко лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой...

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела,— только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне и честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастие слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовию уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келии иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость,— и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на

воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходить в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу,— особенно при фразе, не сходившей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился — носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле.— Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна.— Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями.— Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидать вдали, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекре-

ститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— Каторга! — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечеру по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улы-

бался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел,— ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей,— ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек,— да все таких, что смотреть страшно и тошно,— прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через

мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой — в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство,— на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки,— в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот.— Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар,— белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка

и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжких чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска,— все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле,— все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть,— те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины,

дремлющих на припеке, увидал Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустишие:

тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! —

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка,— лихо носятся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдневное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолок. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошаденок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки,— рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищеброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чекý потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело».

Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то,— сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнущий стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик.— Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей,— опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами,— любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» — подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь...

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует»,— говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли,— война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуды! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич.— Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

— Как дал этому самому министру под жилу,— говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга,— как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет,— народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, не хорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодарь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «и отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбьи, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля,— все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой,— и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков,— конечно, кто подельнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжевых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич,— сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не дозволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вздыхая, бормотал он дрожащим голосом.— Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радует... Прямо надо сказать — не радует!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радует? Скажи пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку цигарку... Кабы не глянул — пропал бы!

— Что ж за цигарка такая?

— Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженая... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решался:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он.— Какого там рожна — бунту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего

три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И перегляды-вается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьми!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запрячь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары́ возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник,— злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным,— по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то! — вопил он, наливаясь кровью.— Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни-и, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам.— Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади.— Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят. Но

мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая,— стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами,— стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая,— за ней так и осталась эта кличка,— была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавшееся в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, раскрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, пóтом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости,— и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо говóрите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говóрите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой,— и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее,— стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услыхавши это.— Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь честью,— ответил знакомый, твердо веривший, впрочем,— как и многие в городе,— что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора ста-

рикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, крытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнущий конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

— Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич,— начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю,— изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал...— Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли,— анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю,— драть шкур не буду.

— Да и времена не те,— вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще,— драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению то есть.

— Ох, имей в виду: зачитаешься — в кармане не досчитаешься! — сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич.— Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю,— возразил Кузьма.— Я, брат,— как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду,— вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанил пальцами по столу.

«Антоновские яблоки»

— Это-то, пожалуй, правильно,— сказал он.— Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету,— ну и что же? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив,— покосился Кузьма на брата,— так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого,— сказал Тихон Ильич.— «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма.— Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич.— Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана,—усмехнулся Кузьма.—Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка,— и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний,— возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь.— Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное!—сказал он строго.—А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул,— и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это»,— подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу.— Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская,

брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так,— не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он.— Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи,— важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич,— сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился,— а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что́ почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно,— она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла

на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать,— противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделываясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась,— сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугунки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок»,— пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, — после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада,— то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сровнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь,— опять выбившись из

колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее,— убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубаху сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец, ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

— Имей в виду,— горячо перебил Тихон Ильич,— охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю Утиную Головку, что ли?—спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма.— Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли,— грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор,— жестяная труба в верхнем углу окна,— был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть,— «как в волостном правлении»,— думал

Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева на́ землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придирчивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да кляузницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить?—насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой,— перебил Тихон Ильич,— а как поживает сам Серый?

— Дениска говорит — «с голоду околевает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно.— И ты мне про него песен не пой.

— Я и не пою,— сердито ответил Кузьма.— Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она *и сожрет его весь под тобой*... То-то смеху было!..» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь:— «То-то смеху было!»

— Да постой ты, Христа ради,— опять перебил Тихон Ильич,— дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

— Ну, говори,— сказал он.— Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще навертывается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Пастасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но больным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи.— Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична,— ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда,— и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые,— кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей, а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый,— мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами.— Так, прошелся ради геморроя,— сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду,— с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами,— имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубили,— сказал почтарь.

— Да еще как-с! Как вырубили-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет,— думал он,— вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило,— верно, простыл, стоя вечером на шоссе,— чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник,— он показывал три,— поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними,— приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть,— что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом,— караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку со-

ломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братуша,— сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом.— Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели.— Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кормочку давай,— пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять польет»,— подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив кострец и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением.— Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич

сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся,— вышел ли малый,— и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел.— Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса,— вчерашний он только перерыл, переслюнявил,— и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, приотворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слыхал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный рукомойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь,— придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-онишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох!— сказал он, закрывая глаза и тряся головой.— Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево,— в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-леженка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем — венчальная шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич,— сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово,— кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший из-за раздвоенной губы мужика.— Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом,— великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить,— думал он, страдальчески морщась.— Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил:— Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он.— В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно пособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени,— да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (по среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы. ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах,— Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор,— когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом зо́лотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагревшейся печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром,— значит, на дворе свежело.

Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов,— и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны заслышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кипувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует,— насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло,— опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшенную кашу... Лицо раскраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь,— только стащив нога об ногу грязные сапоги,— он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру

задать овсяной соломы, жеребцу — тоже... или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал — и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой — так и звали все: «Макарка Странник»,— и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе,— в лаптях, скуфье и засаленном подряснике,— и зашел. В руках — высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьем на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, ноздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цигарку за цигаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключающим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон,— за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежу и оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями,— настолько зловещими, что его посещений стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одеже и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что́ пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля

поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубостройное, древнецерковное, властное и грозящее.

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! —

заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —

убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом,—

вопил слепой.

Авось грешники покаются! —

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда божьего!
Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал,— в лад со слепым,— крякнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку,— отрезал Тихон Ильич.— Меня, брат, не перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее,— ответил слепой серьезно.— Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две трынки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку

чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то,— ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать?— и он ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем,— гуртуют, воркуют, трепещут крыльями,— а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

— Никак, ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью,— брата родного: «Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей,— например, купец Рукавишников,— рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев

или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели,— и не только по пьяному делу,— все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными,— вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют,— сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубоко дохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытной душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте,— железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг

от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места.— Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу,— сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью,— смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было,— с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич.— Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышиного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич,— ответил он певучим городским тенорком и, как всегда, как будто застенчиво.— Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно спросил он.— Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю,— сказал он, называя

венгерку вендеркой.— Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

— А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич.— А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилия», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...».

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил,— ответил Дениска с грустной усмешкой.— А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож,— седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой,— и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он.— Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он — «я сам ушел».

— Глаза лопни, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич.— Деревня стоеросовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов»,— с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать,— ответил Дениска спокойно.— Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска.— Приду в вагон,— прямо, господи благослови, под лавку.

— А книжечки-то где расчитывать? Под лавкой-то не расчитаешься.

Дениска подумал.

— Вона! — сказал он.— Не все ж под лавкой. Залезу в нужник,— читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что,— начал он.— Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку,— пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут,— сказал он, разумея дворовых собак.— Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и докончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать цигарку.

— Что ж,— спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц.— Я каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то,— подхватил Тихон Ильич.— Только, брат, имей в виду,— жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али свиней.

— Не меньше кур и свиней есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работящая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много,— сказал он протяжно.— Не знаю, про какую вы балакаете... Про энту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай нет,— это не твоего, свинья, ума дело,— ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так ... к слову...

— Ну, значит, и не бреши попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу...— начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки,— решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился,— глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол,— и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко! — сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно.— А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич.— Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так,— сказал Тихон Ильич.— Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции,— молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске,— и крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич,— сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич.— Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да и не насмелился.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился, Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

— А то вот еще история была. Жил на селе мужик,— бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугун...

— Чугу-ун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого,— вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик, и еще кто-то — со старческим кашлем.

— Никак, Жмых? — встрепенулся Тихон Ильич.— Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу,— продолжал Оська,— пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околел,— надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка,— надо кобеля хоронить. Как затопает поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал,

вам пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с цигаркой у зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар,— точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше — не плохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей деняг патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихон Ильич.— Ах, голоштанный!»

«Пашел Деня на станцию Тула и как раз ево обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла ево тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделывала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, господи! — подумал Тихон Ильич.— Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку опредилится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох...»

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку.— Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины,— лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить,— кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы,— тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют. Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,
Прощается со мной...

Голову туманило,— то казалось, что все еще впереди — и радость, и воля, и беззаботность,— то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане,— будет тетушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидал два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугунчик со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя, и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было,— уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплевывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе ухи оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал,— начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей неправедной и «так рано пресекшейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему.— Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил,— ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о русско-турецкой войне: о том, как —

В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять,—

и как эта орда —

В безобразных колпаках
Подкрадалась под Царь-Пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию *просвещеннаго безнаук природою...*»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув цигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше «без наук просвещение»?

И опять схватил цигарку и стал глухо реветь:

— Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь,— правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа. Платон Каратаев — вот признанный тип этого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

— Платон Каратаев...

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизеи, крестовые походы, войны религиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастием казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш,— во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: — Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы,— по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пяток, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой — туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба,

маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо,— хмуро и зло жаловался один.— Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да,— гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в цигарку.— Сказано: кажный час учись, кажный час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил цигарку и полез в столик.

— Вот,— забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет.— Вот тут, друг, куча добра... Я все почитывал, да вырезывал, да записывал... Помру,— годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да нет, нет,— этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби древо по себе. На энту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ,— сказал Кузьма.— Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? *Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, потвоему? Стадо кажный вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе,— в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого:

«Антоновские яблоки»

«Нынче таких салопов-то уж нетути!» Он не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидал красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над

лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма.— А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамаши,
какие мы есть несчастные, страдащие!
Ах, не дай господь, мамаши,
таким страдащим быть!

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!»

В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго и что впереди — нищета, потеря лика

человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да,— думал он,— давно пора!» И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пуш-

карную Слободу, и, качая головой, морщась от цигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всяобщая забастовка!

— Опоздал, малый,— сказал Кузьма.— Поновей-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городовой на вокзале отнял,— ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходивших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил примьер-министра»... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья.—Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели.— Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызшую во рву кость...

«Да, да,— думал он, поднимаясь на гору.— Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по слу-

чаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопа: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

— В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила,— ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил:— Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был,— взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя.— «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — «депутат хотел реку отравить»... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича,— и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду... Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены

напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господин, брат тут служа... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел»! Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев. все время косивший на него свиными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция,— тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов,— учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидал на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

— С богомолья?

— Из Воронежа,— с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цигарку... Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад,— что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было

двенадцать верст,— потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей,— пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

— Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшóв... Н-но, анчихрист!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная,— пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону.— Квасу холодного напился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту,— сказал Кузьма строго.— Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь. Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать,— согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец, бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив,— только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то

какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки,— елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма.— Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень,— видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются— «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

— Гуляет народ,— задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот;

Не пахать, не косить —
Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно —

и лапти, и онучи, и новые тяжевые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди гама и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки.— Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Ццыц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала,— говорил Меньшов, тащась по выгону.— Любит она его без памяти,— дело вдовье,— а он почесть кажный день мордует ее, пьяный... Знать, того сто́ит.

— Это каким же манером — «того сто́ит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

— Это Чучень,— сказал Меньшов, кивая на больного.— От живота второй год помирает.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, зарос-

шему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте,— две длинных лощины, заросших дубняком,— назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым закромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колеях, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба.— Чей?

— Господский.

— Чей? Ничего не слыхать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покатом выгоне,— темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками,— обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста,— кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак,

бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский,— громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей.— Его сожгли вчерась... Видно, сто́ит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок,— и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смирно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать,— ответила старостиха серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада,— сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: «Однако ты умен! — крикнул он.— Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но смилостивился — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темнорыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализам.— Ишь, раздолевается!

— Кто раздолевается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчук-то,— весело сказал он, сильно картавя.— Говорят, семой год так-то!

— Это какой же,— что курицу рубил?

— Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я»,— прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного.

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять.

— Вона... хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» — от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахучe дымившему под чугуном костру,

все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил,— притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму,— приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди,— рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу.— Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— «Со скгипом»! Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам,— сказал Кузьма,— вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку.— Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на пал-

ку, пекарь — на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю,— сказал он покорно и грустно,— что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!..— Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут,— сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не бреши, если не видал,— строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел,— много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?

— Да дурак,— перебил Митрофан,— булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугунчиком. «Милости просим»,— сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотою. Соловьи смолкли,— сладко и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма.— Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

— А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю,— послышался голос

пекаря,— сколько он от Думы земли чает получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письмённый,— сказал Аким.— Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата,— заговорил Митрофан.— Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город,— радостно подхватил Аким,— и — в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан.— Чего гогочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами.— Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки,— равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет,— подтвердил Митрофан.— Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать,— сказал он наконец.— А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво.— Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь,— отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать цигарку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролегавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало

жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидал широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало; что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдется по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По но-

чам от духоты кровь стучала в голову и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всенощной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотька»,— подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя Утиная Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой,— видно, базар позабавился,— и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплевываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать цигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село! —

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем,—

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной,— Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день,— и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо,— все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду.— На морды лошадям сигает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном

косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев,— Мысовых, как назвал их Оська,— и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно,— сказал Оська.— Ученик у них — бядовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!»— где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсвекольнику, милому позднему

цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводить. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран,— сказал он наконец, не спеша.— Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

— Не знаю,— сказал Кузьма.— Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?»— «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то,— и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось— Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые

зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи,— сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю,— сказал Кузьма.— А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей,— быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы.— Одна мышь поплоше несла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — «Кто он?».

— Выучил?

— Выучил...

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой,— сказал Кузьма,— а не сядой.

— Ну, сидой,— согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун,— сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он ухи найдет,— беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малей-

шем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то,— говорила она, легонько вздыхая.— Бедность была лютая, хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» — говорю мужику.— «Видно, иди»,— говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугунке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно неслось на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугунки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась,— и он посматривал на небо:

— Портится погодка. Дожжок теперь для зеленей первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...» И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям быва-

лым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель.— Проспулась эта ведьма на-рани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка...» До утра он караулил усадьбу, днем спал,— дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, пáдрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге,— то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встрявал не только во все мирские,

но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, каленки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, поровил охаять...

— Да ведь язык-то без костей,— говорил Серый.— Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и бреши.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полпивы, но и ту продавал на корню,— «милое за немилое сбывал». И опять с резоном: дождись-ка ее, попробуй! — «Все, к примеру, дождаться-то лучше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он.— Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то сидит... ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна,— возражал, раздражаясь, Яков.— Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клевера́. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить

подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут,— ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь,— сказал Яков,— наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то, не мед,— говорили соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он.— Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик.— Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы,— отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладать?

— Не время его накладать,— твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать.

— Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, малый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело,— за что?

— Мне нечего говорить,— пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука́ девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это,— за пельки хватать? — спросил Серый спокойно.— Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было.— За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь,— сказал Серый, держа вилы наперевес.— Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шарахнулся в воду — спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрюшка-то, с Егоркой с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут кормочку скотине дай, а я пойду,— на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу — опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепужались они — до страсти. Он, как куль, наземь с пее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не нужо-он...» Поддевочку его взял, пинжачок — тоже, оставил в одних подштанниках,— почесть в чем мать родила... «Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю — и он сзади идет: снег белый — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда,— куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе,— в поле! Закатилась — насилу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить,— был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю пояснику ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вона! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток.— Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера.— А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова,— совершенно лысый мужик в огромной шапке,— писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать,— в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет.

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку — поверх пенсне.— Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре — дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тороваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так

«Деревня»

безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабоволен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил,— ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да дó веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке,— угольком краснеет его трубка; хозяйка,— смирная, молчаливая, с придурью баба,— тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок,— большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак, Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, наросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос,— голос человека, проснувшегося рано, натощак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что́ говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая

знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью: днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи — у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать,— скажешь ему.— Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:

— А как спать-то вам,— ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич,— пробормотал он, отвертываясь к окну.— И особливо после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода

он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, — только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке,— часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не

чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысинами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков,— о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его,— его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дур-

новки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай бог дому сему да хозяина в дому»,— и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь,— она улыбалась только ему одному,— негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси табе господь, внучкя», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым нытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой.— Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Таперь, брат, не подымешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая

расспрашивали — и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чепи» — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, о оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть — и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжко вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегряшения...» Потом задумался, долго молчал, приникнув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно,— у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб,— привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалоб-

ным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на крещенье говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и закоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог,— поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и праздничночисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпáлись по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпáлись. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запушенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, околел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услыхать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

— Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнущей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь,— зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней,— бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха,— руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза раскраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна́ сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он при-

шел в себя утром, когда топили печку,— и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнущий лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок,— найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду,— и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и настигла бы, да «спасибо, снег был глубок»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув

в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны...— подумал Кузьма.— Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата,— какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя,— сказал он, подумав.— Я и лавку с двором с первого марта передаю,— поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Однодворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти россказни брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на цигарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинами. Обдирал он, конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон

Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого,—прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете,— сказала она с дрожью в голосе.— Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами.— Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам,— сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал,

сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места.— Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей.— Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат,— ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь,— ответил Кузьма тихо.— Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось,— картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки уверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: уверх да уверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

— Да договаривай же,— сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, господи, мое согрешение,— полусердито, полушутливо отозвался Тихон Ильич.— Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потеребил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни,— какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку,— твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю.— И прошу тебя, братуша,— прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Га́рно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города,— за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее,— и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду,— сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки,— у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломаю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова,— слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается,— это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь,— нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич.— Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма.— Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не

понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты *его* живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит? — продолжал Кузьма, не слушая.— У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...»

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич.— Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю,— в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, господь! — воскликнул он фальцетом.— Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой,— строго спросил Тихон Ильич.— У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал,— продолжал Кузьма, не слушая,— много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма.— Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат,— сказал он, и скулы его покраснели.— Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

— Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы»,— только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма.— «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь,— верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь,— заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью,— не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся,— думал он безнадежно.— Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружком со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насиловали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич,— ласково сказал Кузьма,— что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью,— тихо ответил Тихон Ильич.— Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухою? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует,— кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди,— будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить,— отозвался Тихон Ильич страдальчески.— Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом.— Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая, житие же — сень и соние. Ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищии...

— Царие и нищии! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою.— Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, *а она взяла да и истаскала его наизнанку*... Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить,— праздника, мол, дождусь,— а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своей*. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету,— говорила Молодая.— А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то нельзя,— певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж язык-то даром трепать,— громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость.— Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил,— ответила Молодая.— Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

— Сват не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном.— Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи,— шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут,— сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай,— усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Може, бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

Как у нас да по садику,
Зелено́м винограднику,
Ходил, гулял молодец,
Пригож, бел-белешенек...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугунчика и моток черных ниток.

— Вот, невестушка,— сказал он смущенно,— на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего,— кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугунки на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугунчик положил,— пробормотал он.

— Спасибо, батюшка,— еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай,— сказал Кузьма.— Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно,— негромко ответила Молодая.— Уж и так страму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупичатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох,— сказал Кузьма,— измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиньи?

— Дешевле не дешевле,— мертвых с погоста не носят,— просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину.— Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш,— тут пива не сваришь!» — подумал Кузьма и сказал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку — «ряженый пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугун лапши, чугун щей, чугун каши — все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень,— тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Было людно, тесно и в сенях.

Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон,— они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем концу вечера,
При Авдотьином девишнику...

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

Растопися, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеням, сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

— Будя, девки! — крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди мово батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружко́, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется. Положь по рублю на кажном углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шалями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господа бояре, благословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог благословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях натаскали много снегу,— в спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто осве-

щенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и всея твари содетелю...— говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос.— Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавый... Иакова Рахили сочетавый... подаждь рабом твоим сим...»

— Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...» — продолжал с чувством:

«Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни домы их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого
Золотая голова!

Москва.
1909—1910

СУХОДОЛ

I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луневе, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая.

И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выходив, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запорол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужасти!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой.— Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью,— истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда,— говорила Наталья,— как было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселен-

ной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Со́шки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с,— сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка,—скромно говорила она.—Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими

горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе:

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом!— прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская,— душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не

богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели,— где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас,— тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых,— с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба,— улей, оставленный на волю божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, троекратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что

старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца — пуньками, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы божьей матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы,— на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы

прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную,— туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы... Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйте-с,— окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— Où êtes-vous, mes enfants? [1]— жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано

[1] Где вы, дети мои? *(франц.)*

тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а *он* стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом пропосясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу,— и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин.Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вкруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

«Деревня»

— Исусе сладчайший, помилуй мя,— шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая,— и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и разражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте,— и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на копик, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое. Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья постращать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особливо после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?

— Этого у нас и в заведенье не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью; но порою запиналась, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомню-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночку темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них,— крикнула я, да и замертво! А пришедчи в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордилися, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед,—энтого и следовало!—а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи,— он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен,— невеселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья.— И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалася...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч,— сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню,— в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое,— бормотал он, когда захватывали его.— Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хочете — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал, куда деваться, одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше,— минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый,— а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками,— «уж не Петенька ли из полка в побывку»,— или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись,— рассказывала Наталья.— Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом — год. Дворни девать было некуды... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам,— особливо к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» — «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А гро́зы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюш-

ка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать,— боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы,— сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи,— когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идьите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «Maître corbeau sur un arbre perché» [1],— и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья, и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится,— волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж,— говорит раз барчуку,— ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду».— «Ан нет».— «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка царица небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказалися...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и

[1] «Ворон, взобравшись на дерево» *(франц.)*.

будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла,— обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому,— и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары,— по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с,— говорила Наталья,— в доме только почивают. А не почивают,— значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Середнюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, «*Закатилось солнце красное за лес...*». А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья».—

«Виноват, сударь». А барчук задвохнутся — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то «сударь»! — кричат.— Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтиться, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковинное дело! — говорила Наталья.— Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук,— а, по правде-то сказать, и сами дедушка,— в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась после своей провинности...

V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи, и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий,— сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле,— помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь,— сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки.— У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем.— Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фóра! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал.— Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают,— возразил он, насупясь.— А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно-дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его,— как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу,— что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением,

очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе,— за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное

преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку,— конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов,— пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами,— сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

— Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке.— Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану,— мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла,— говорил он, уже разумея Демьяна.— Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах!— думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонёбому.— «Смотри!» — А чего мне

смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хуторя — только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженой голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалося солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались,— нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка,— уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням...«Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее,— не то думала, не то чувствовала Наташка,— повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, до́ма, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, под-

пиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней — свой, а у меня — свой»,— не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного,— того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей,— думала она,— как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе,— только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее — и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание.

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула,— только головой покачивал,— и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович

стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца,— и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай,— топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после таких непрошеных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства,— поднести, например, ей цветок,— и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать: «Отвяжитесь

от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми,—бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку,— пойми, змея, что́ могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка.— Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельносиними губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь,— сказал он безразлично, играя черными глазищами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он.— Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

— Смотри не напейся,— рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил,— как равному кинул ему Герваська.— Не антересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услыхал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь стол закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувство-

вал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке,— крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте на́ вечер. Как дело на́ вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспременно помру вечером,— попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да,— волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия.— Да, да, смерть грешнику люта... Да не за́йдет солнце в гневе нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнущих табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська — без казакина, заспанный, «злой, как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, заместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени!— перебил Герваська.— Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он.— Это ты должóн уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами,— и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же?— ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добре́ ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженой девчонки, круглоликой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое,— сказала она.— Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал,— спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было,— повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня,— маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня,— барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выби-

рая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она.— Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не видала»,— барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое уменье: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с,—шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколодная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж,— сказала она задумчиво.— И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро — и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце,— а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: «Круть, верть, метелица...» Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы,— он только усы носил,— тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко,— тяжелы были его сапоги,— в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее

широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,

Як зійшла зоря вечіровая
Та над Почаевом стала,

как сама божья матерь святой монастырь «рятува́ла», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,
Що я посадила,—

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема мого́
Миленького,
Що я полюбила...

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него*, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать,— вплоть до того, как он насмерть «толконул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай дóвеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образумься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на господа бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

— Думай не думай — по-нашему не будет,— говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль.— У господа бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле,— трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклоченными ветром ры-

жими кудлами, в распоясанной развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка!— крикнула она в тревоге и ужасе.— Ай пожар?» — «До шпенту все слетит сейчас! — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик.— Тучá идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!» — А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы — и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Исусе,— скороговоркой шептала она.— Матушка царица небесная! Угодники божии!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась,— недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидала знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом,— мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо-опушенной шеи,

точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи,— с прямо вытянутыми ногами,— с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце,— вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не каляньсь: видно, уж придется подгузники скидавать! Не минуешь!

А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном,— и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось,— все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы,— барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко загляпула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное

старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком,— уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился — и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темняет... пора,— говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом,— даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре,— на случай зова, приказаний Клима,— мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску,— кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью.— Ты иди, тоска, во темные леса,— там твои мяста! На море, на окияне,— бормотал он глухой зловещей скороговоркой,— на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучница, на ей серая рунища...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом,— тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что́ она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что́ держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи —

о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца.— Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче божий Дрониe, моли бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь.— Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

— О святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

— Угодниче божий! Моли бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх

огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмиряется огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, «провинёный монах», как он называл себя.

IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности».— «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож,— говорил он.— Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу,— старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет,— он никогда не пьянел,— издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно,— рассказывал он мужикам, подмигивая,— известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка.— Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые,— мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек,— ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы.— Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *неминучее*, что близко осуществление страшного сна ее,— в Сошках, про козла,— что, видно, на роду

написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что́ именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душит мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом неминучем часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминучее свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Наделящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут,— и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне...— зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями.— Там лежит сучница, серая рунища...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей,— и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани,— от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах,— рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все,— расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спо-

койствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготовлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии,— ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворне и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей,— собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастие не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего

из Крыма, Петр Петрович уехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег,— будто бы головой к ней,— спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями,— крикнул: «Пошел!» — и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда,— забормотал он глухо, странно, как во сне,— барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

X

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полушепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем,

ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад,— дедовский сундук с выдвижными ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распахано и засеяно, как распахана, засеяна была земля на местах многих других усадьб. Суходол еще кое-как держался.

Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича,— ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни,— единственной жилой горницы,— жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой,— если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой

темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

Васильевское. 1911

ЗАХАР ВОРОБЬЕВ

На днях умер Захар Воробьев из Осиновых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать. Он и сам чувствовал себя принадлежащим к какой-то иной породе, чем прочие люди, и отчасти так, как взрослый среди детей, держаться с которыми приходится, однако, на равной ноге. Всю жизнь,— ему было сорок лет,— не покидало его и другое чувство — смутное чувство одиночества: в старину, сказывают, было много таких, как он, да переводится эта порода. «Есть еще один вроде меня,— говорил он порою,— да тот далеко, под Задонском».

Впрочем, настроен он был неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично. Он был бы даже красив, если бы не бурый загар, не слегка вывороченные нижние веки и не постоянные слезы, стеклом стоявшие в них под большими голубыми глазами. Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гиганта, удивленно улыбался и откидывал голову, слегка откры-

вая красную, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог, с кисловатой вонью дубленого полушубка и мятным ароматом нюхательного табаку: он не курил, а нюхал.

Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висели медный гребень и медная копаушка. Лет до тридцати пяти носил он лапти. Но подросли сыновья, двор справился, и Захар стал ходить в сапогах. Зиму и лето не снимал он полушубка и шапки. И полушубок остался после него хороший, совсем новый, зелено-голубые разводы и мелкие нашивки из разноцветного сафьяна на красиво простроченной груди еще не слиняли. Бурый котик,— опушка борта и воротника,— был еще остист и жёсток. Любил Захар чистоту и порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожиданно.

Было начало августа. Он только что отмахал порядочный крюк. Из Осиновых Дворов прошел в Красную Пальну, на суд с соседом. Из Пальны сделал верст пятнадцать до города: нужно было побывать у барыни, у которой снимал он землю. Из города приехал по железной дороге в село Шипóво и пошел в Осиновые Дворы через Жилое: это еще верст десять. Да не то свалило его.

— Что? — удивленно и царственно-строго сказал бы он своим бархатным басом.— Сорок верст?

И добродушно добавил бы:

— Что ты, малый! Да я их тыщу могу исделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы таперь для праздничка выпить маленько»,— шутя сказал он в Шипове знакомому, петрищевскому кучеру, проходя по залитому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтировали. «Что ж не пьешь? Кстати бы и мне поднес»,— ответил кучер. «Не на что, протратился, и так в грузовом вагоне ехал»,— сказал Захар, хотя деньги у него были. Кучер подмигнул приятелю, уряднику Голицыну. Пристрял шиповский мужик, пьяница Алешка. И все четверо вышли из вокзала. Захар и Алешка пошли пешком, кучер сел в тележку, запряженную парой,— он выезжал за Петрищевым, да тот не приехал,— урядник на дрожки-бегунки. И Алешка тотчас затеял спор: может ли Захар выпить в час четверть?

— А с закуской? — спросил Захар, широко шагая по сухой земле, изрезанной колеями, возле высокой кобылы уряд-

ника и порой осаживая вниз оглоблю, поправляя косившую упряжь.

— Можешь требовать чего угодно, на полтинник,— сказал кучер, человек недалекий, сумрачный.

— А проспоришь,— прибавил Алешка, оборванный мужик с переломленным носом,— а проспоришь, за все втрое отдашь.

— Нехай будя по-вашему,— снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спросить на закуску.

Он не только не устал от путешествия в Пальну,— где дело кончилось превосходно, миром,— не только не истомился, промучившись в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прилив силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Да что? Выпить четверть — это не бог весть какая штука, это не ново... Удивить, оставить в дураках кучера — невелик интерес... Но все-таки на спор пошел он охотно. И, принявшись за еду и питье, сперва наслаждался едой,— есть очень хотелось, каждый кусок был сладок,— потом своим рассказом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, на просторе желтых полей, покрытых копнами, было уже что-то предосеннее, легкое, ясное. Густая пыль лежала на шиповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделение, голубой дом купца Яковлева с палисадником при нем и две лавки его в особом срубе на углу. Возле черной лавки ступеньками навален сосновый тес. Сидя на нем, Захар пил, ел, говорил и смотрел на площадь, на блестевшие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда и на желтое поле за рельсами. Алешка сидел рядом с ним и тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленный человек с подстриженными усами, в обтрепанной шинели с оранжевыми погонами,— урядник и кучер курили, один на дрожках, другой в тележке. Лошади дремали, терпеливо ждали, когда прикажут им трогаться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончилось? — говорил он.— Да ничем. Помирились. Я этих судов, пропади они пропадом, с отроду не знавал, ни с кем не судился. Мне сам батюшка-покойник заказывал эти свары. А тут и свара-то вышла пустая. Бабы повздорили, а мы сдуру ввязались...

Он уже выпил бутылки три — из деревянного корца, который достал на дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучи столь уверенным в себе, что даже не заме-

чал того, что́ делал. Кучер, урядник и Алешка из всех сил прикидывались спокойными, хотя душа каждого из них горячо молила бога, чтобы Захар упал замертво. А он только расстегнул полушубок, чуть сдвинул шапку со лба, раскраснелся. Он съел две таранки, громадный пук зеленого луку и пять французских хлебов, съел с таким вкусом и толком, что даже противники его дивились ему, и оживленно, чуть насмешливо говорил:

— А на судах этих чудно́! Я и итить-то туда не хотел. Слышу — подал прошенье. Ну, подал и подал, не замай, а я, мол, не пойду. Только вдруг приезжает в Пальну начальство, присылает за мной сам заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ничего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушка, попер. Жара ужашная, пыль по дороге как пыс, альни итить горячо. Ну, однако, прихожу. Шел дюже поспешно, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цедил в темный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнущей остро и сытно, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал из него последние капельки. Потом осторожно ставил бутыль возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глаз; урядник, уже передвинувший тайком стрелку часов на целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захар, поставив бутыль, брал две-три стрелки лука, ломая, забивал их в большую деревянную солонку, в крупную серую соль и пожирал с аппетитным, сочным хрустом. Глаза его налились кровью и слезами, казались страшными. Но он улыбался, грудной бас его был звучен, ласков, приятно насмешлив.

— Ну, являюсь,— говорил он, прожевывая и раздувая ноздри.— Вижу, на улице везде народ, под лозинкой в холодке сидит заседатель в майском пинжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом,— Захар повел рукой налево,—урядник что-й-то записывает красным осьмигранным карандашиком. Вызывают хрестьянина Семена Галкина, обуховского. «Семен Галкин!» — «Здесь». — «Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слухается, доедает...

— По морде бы его этой грушой,— сказал кучер.

— Верно! — подтвердил Захар, разламывая седьмую, последнюю булку.— Стоит и лопает! Обращается заседатель к

уряднику: «Вот, говорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок восемь рублей восемь гривен, а когда я хотел описать какой есть его лесишко и анбар, то, говорит, этот самый Галкин со своими дружьями, двумя братьями Иваном и Богданом, сели на дерева, на бревна эти возле избе, и не дозволили мне свершить опись. А когда я взошел к ему в избу, то он будто невзначай спросил у своей жане, где тут у нас безмен, чтó было сказано про меня, и я это принял на свой счет, а Богдан тем временем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, все давно скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот извольте вспросить его жану Катерину и мать Феклу и показания от ней занесть в протокол. А еще в опросный лист занесите показанье церковного старости, хрестьянина Федота Левонова. А еще, что сельский староста Герасим Савельев в энтот день пропал бéз вести и на мои требования не явился, а когда я уходил от Галкина к Митрию Овчинникову, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притравил меня кобелем, а сам спрятался за ворота, что я заметил очень хорошо, и посвистывал, да, слава богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался прямо на грудь, сигал как бешеный, все благодаря Митрию, который выскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью своего рассказа, точно прочитал последние слова. Без передышки, звучно и твердо передав заявление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не вытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется,— ответил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт курносый! — гаркнул он добродушно.— Дай доказать-то! Я свою время знаю,— выпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках кованых каблуков,— он с гордостью выставил сапоги и порою без нужды подтягивал голенища,— лицо было красно, но еще не пьяно. Преувеличенно низко раскланявшись с мужиком, проехавшим мимо в пустой телеге и внимательно оглядевшим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, двинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, занявшей его воображение, игрой своего ума.

— «Катерина Галкина! — громко, грудью говорил он, изображая всех в лицах.— К допросу. Подойди поближа!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» — «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Правда ли, что твой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, говорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж о́сты вешать».— «Значит, ты от этого отказываешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька всему первый полководец. Его опросите,— и дело к развязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рвет. «Имушшество, говорит, моя, за сына я не плательшица, по правам покойного мужа всем владаю, а у сына ничего нету, одни портки».— «А сын-то чей же?» — «Мой».— «А раз сын твой, и толковать нечего, за неплатеж имушшество отвечает. Ступай, не разговаривай, а за дерзкий ответ посажу тебя в арестанку на двое суток на́ хлеб, на́ воду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церковный титор Федот Левонов? Подходит дочь его Винадорка. «Иде отец?» — «В клети, после обеда отдыхает».— «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через двор живет...

— Близко, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером.— Так, так... Ну, доказывай, доказывай. Ты, брат, на удивление горазд рассказывать!

Он говорил что попало, лишь бы отвлечь внимание Захара,— он, вынув часы и спрятав их между коленями, передвигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просиявшим от похвалы лицом, еще шумнее выдохнул воздух, мотнул головой, отсаживая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще выразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебивай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, в розовой новой рубахе распояской, и ворот от жары расстегнул. А из избе выходит в новой теплой поддевке, подпоясан зеленой подпояской, шапку в руках несет. Подходит. Волосы гу́стые, седые, разложены вроде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, видать, старик.) Пошушукался что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом вынимает большой гаман кожаный, стал отсчитывать трехрублевки обмороженными культышками... Потом Винадорку кличет. Приказывает самовар ставить, зовет к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду завел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, светла,— вся

писаная, в яблоках!» Смеется, моршшится, гнилые корешки в красном роте показывает... «Не посмотреть, говорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что говорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хворсит...

— Форсит-то, форсит,— опять перебил урядник, вынимая часы,— а ведь пять минут всего осталось. Тебе теперь одним духом надо допивать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он.— Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прошел, брат, прошел! — подхватили кучер и Алешка.— Допивай, допивай!

Захар дохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он.— Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Главная вещь, я сопрел весь. Жара! Август. Черт с вами, я вам лучше сам бутылку поставлю. А вы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешливо.— Жидок на расправу!

Захар остановил на нем кровавый, тяжелый взгляд. Потом, ни слова не говоря, взял бутыль за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнив корец, и до дна высосал его. И, слегка задохнувшись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь — буду доказывать! — с упрямством хмелеющего человека сказал он.— Вот ты и глянешь, напоил ты мине, али у тебе и потрохов не хватит на это...

И вдруг опять повеселели страшные глаза его, лицо опять стало важным и добродушным.

— Таперь вы обязаны слухать! — всей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызывают знахаря, Василь Иванова. Этот совсем худой, в поддевке серой, виски вроде пеньки и бородка клипушком. И еще пуще старика моршшится,— не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, выходит, старуху опоил. Давал ей лекарству какую-то,— бывает, велел пить по маленькому стаканчику, а она и возьмись глушить его большими стаканáми... Вызывают его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий».— «Кто тебе дал праву лечить, мерзавец?» А у них уж раньше, конешно, был сговор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, известно, надо же для близиру поорать. Вспрашивал, вспрашивал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих в осинник!» Тот

будто и испужался: шапку поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул».— «А сколько сейчас время?» Вынул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого».— «Ну, пойдемте, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как вóроны, на срубленных деревах возле избе, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней,— у того, по крайности, степя аграматные... А старик кричит,— у нас лучше...

Ему казалось, что он мог бы говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно неудовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц,— и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивитель-

ное! И опять широко озирал горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя,— дойти до Жилова раньше, чем оно сядет,— и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы.— Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе.—

Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха,— она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты,— зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно.— Раз тебе вспрашивают, можешь ты мне не отвечать? Знаит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран заваляет, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе.— Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего боишься? Молчи,— говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха.— Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду не видала...» — «А я табе говорю, не голоси! — говорил Захар.— Всякий свою стежку то́пча! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости.— Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой,— застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы.— Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветла-

ми — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь.— Как подохли все!

Ему захотелось рявкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по избам. «Да нет, нет,— подумал он, мотая головой,— ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светоноснее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой,— выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих бельм с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнущие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то

черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачнейшим дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Капри. Февраль. 1912

БРАТЬЯ

Взгляни на братьев, избивающих друг друга.
Я хочу говорить о печали.

Сутта Нипата

Дорога из Коломбо вдоль океана идет в кокосовых лесах. Слева, в их тенистой дали, испещренной солнечным светом, под высоким навесом перистых метелок-верхушек, разбросаны сингалезские хижины, такие низенькие по сравнению с окружающим их тропическим лесом. Справа, среди высоких и тонких, в разные стороны и причудливо изогнутых темно-кольчатых стволов, стелются глубокие шелковистые пески, блещет золотое, жаркое зеркало водной глади и стоят на ней грубые паруса первобытных пирог, утлых сигароподобных дубков. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черноволосых подростков. Много этих тел плещется со смехом, криком и в теплой прозрачной воде каменистого прибрежья... Казалось бы, зачем

им, этим лесным людям, прямым наследникам земли прародителей, как и теперь еще называют Цейлон, зачем им города, центы, рупии? Разве не всё дают им лес, океан, солнце? Однако, входя в лета, одни из них торгуют, другие работают на рисовых и чайных плантациях, третьи — на севере острова — ловят жемчуг, опускаясь на дно океана и поднимаясь оттуда с кровавыми глазами, четвертые заменяют лошадей,— возят европейцев по городам и окрестностям их, по темно-красным тропинкам, осененным громадными сводами лесной зелени, по тому «кабуку», из которого и был создан Адам: лошади плохо переносят цейлонский зной, всякий богатый резидент, который держит лошадь, отправляет ее на лето в горы, в Кэнди, в Нурилью.

На левую руку рикши, между плечом и локтем, англичане, нынешние хозяева острова, надевают бляху с номером. Есть простые номера, есть особенные. Старику-сингалезу, рикше, жившему в одной из лесных хижин под Коломбо, достался особенный, седьмой номер. «Зачем,— сказал бы Возвышенный,— зачем, монахи, захотел этот старый человек умножить свои земные горести?» — «Затем,— ответили бы монахи,— затем, Возвышенный, захотел этот старый человек умножить свои земные горести, что был он движим земной любовью, тем, что́ от века призывает все существа к существованию». Он имел жену, сына и много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу о них». Он был черен, очень худ и невзрачен, похож и на подростка и на женщину; посерели его длинные волосы, в пучок собранные на затылке и смазанные кокосовым маслом, сморщилась кожа по всему телу, или, лучше сказать, по костям; на бегу пот ручьями лил с его носа, подбородка и тряпки, повязанной вокруг жидкого таза, узкая грудь дышала со свистом и хрипом; но, подкрепляя себя дурманом бетеля, нажевывая и сплевывая кровавую пену, пачкая усы и губы, бегал он быстро.

Движимый любовью, он не для себя, а для семьи, для сына хотел счастья, того, что не суждено было, не далось ему самому. Но по-английски знал плохо, названия мест, куда надо было бежать, разбирал не сразу и часто бежал наугад. Колясочка рикши очень мала; она с откидным верхом, колеса ее тонки и высоки, оглобли не толще хорошей трости. И вот влезает в нее большой белоглазый человек, весь в белом, в белом шлеме, в грубой, но дорогой обуви, усаживается плотно, кладет нога на ногу и сдержанно-повелительно, в горло себе, каркает. Подхватив оглобли, старик припадает к земле и летит вперед, едва касаясь земли легкими ступнями. Человек в шлеме, держа палку

в конопатых руках, задумался о делах, загляделся — и вдруг злобно выкатывает глаза: да он мчится совсем не туда, куда надо! Короче сказать, немало палок влетало старику в спину, в черные лопаточки, вечно сдвинутые в чаянии удара. Но немало и лишних центов сорвал он с англичан: осадив себя на всем бегу у подъезда какого-нибудь отеля или конторы и бросив оглобли, он так жалостно морщился, так поспешно выкидывал вперед длинные, тонкие руки, сложив ковшиком мокрые обезьяньи ладони, что нельзя было не прибавить.

Раз прибежал он домой совсем не в урочное время: в самый жар полдня, когда золотыми стрелами снуют в лесах те лимонные птички, что называются солнечными, когда так весело и резко вскрикивают зеленые попугаи, срываясь с деревьев и радугой сверкая в пестроте лесов, в их тени и лаковом блеске, когда так сладко и тяжело пахнут в оградах старых буддийских вихар, крытых черепицей, сливочные цветы безлиственного жертвенного дерева, похожие на маленькие туберозы, такими яркими самоцветами переливаются толстогорлые хамелеоны, мелькая и по гладким и по кольчатым, как хобот слона, стволам деревьев, так много реет и замирает на солнце огромных пышных бабочек и агатовым зерном кишат, текут горячие бурые холмики муравьев. Все в лесах пело и славило бога жизни-смерти Мару, бога «жажды существования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью, истребляя друг друга, а старый рикша, уже ничего не жаждавший, кроме прекращения своих мучений, лег в душном сумраке своей мазанки, под ее пересохшей лиственной крышей, шуршащей красными змейками, и к вечеру умер — от ледяных судорог и водяного поноса. Жизнь его угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих водных пространств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото великолепнейших в мире облаков,— и настала ночь, когда в лесах под Коломбо остался от рикши только маленький скорченный труп, потерявший свой номер, свое имя, как теряет свое название река Келани, достигнув океана. Солнце, заходя, переходит в ветер; а во что переходит умерший? Ночь быстро гасила сказочно-нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек, летучие лисицы бесшумно проносились под ветвями, ища ночлега, и черной жаркой тьмой наполнялись леса, загораясь мириадами светящихся мух и таинственно, знойно звеня цветами, в которых живут мелкие древесные лягушки. В далекой лесной кумирне, перед лампадой, чуть мерцавшей на черном жертвеннике, облитом кокосовым маслом, усыпанном рисом и увядшими цветочными лепестками, на пра-

вом боку, кротко подложив ручку под голову, покоился Возвышенный, гигант из сандального дерева, с широким позолоченным лицом и длинными косыми глазами из сапфира, с улыбкой мирной грусти на тонких губах. На спине лежал в темной хижине рикша, и смертная мука искажала его жалкие черты, ибо не дошел до него голос Возвышенного, призывавший к отречению от земной любви, ибо за могилой ждала его новая скорбная жизнь, след неправой прежней. Зубастая старуха, сидевшая у порога хижины, у костра под котелком, плакала в эту ночь, скорбь свою питая все той же неразумной любовью и жалостью. Возвышенный уподобил бы ее чувства медной серьге в ее правом ухе, имевшей вид бочонка: серьга была велика и тяжела, она так оттянула разрез мочки, что образовалась порядочная дыра. Резко белела ее короткая кофточка из бумажной материи, надетая прямо на голое кофейное тело. Голые дети, как чертенята, играли, визжали, гонялись друг за другом возле. А сын, легконогий юноша, стоял в полутьме за огнем. Он вечером видел свою невесту, кругloликую тринадцатилетнюю девочку из соседнего селенья. Он испугался и удивился, услыхав о смерти отца,— он думал, что это будет еще не скоро. Но, верно, был он слишком взволнован другою любовью, которая сильнее любви к отцам. «Не забывай,— сказал Возвышенный,— не забывай, юноша, жаждущий возжечь жизнь от жизни, как возжигается огонь от огня, что все страдания этого мира, где каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его — от любви». Но уже без остатка, как скорпион в свое гнездо, вошла любовь в юношу. Он стоял и смотрел на огонь. Как у всех диких, ноги его были не в меру тонки. Но и Шива позавидовал бы красоте его торса цвета темной корицы. Блестели при огне его черно-синие конские волосы, длинные, стянутые и закрученные на макушке, блестели глаза из-под длинных ресниц, и блеск их был подобен блеску кокса против огня.

На другой день соседи отнесли мертвого старичка в глубину леса, положили в яму, головой на запад, к океану, торопливо, но стараясь не шуметь, забросали землей, листьями и торопливо пошли омываться. Старичок, отбегался; с его тонкой, посеревшей и сморщившейся руки сняли медную бляху — и, любуясь ею, раздувая тонкие ноздри, юноша надел ее на свою, круглую и теплую. Сперва он только гонялся за опытными рикшами, прислушиваясь, куда посылают их седоки, запоминал названия улиц и английские слова; потом и сам стал возить, сам стал зарабатывать, готовясь к своей семье, к своей любви, желание которой есть желание сыновей, равно как желание сыновей есть

желание имущества, а желание имущества — желание благополучия. Но однажды, прибежав домой, он наткнулся на другую страшную весть: невеста его исчезла — пошла на Невольничий Остров, в лавку, и не вернулась. Отец невесты, хорошо знавший Коломбо, часто ходивший туда, дня три разыскивал ее и, должно быть, что-нибудь узнал, потому что вернулся успокоенный. Он вздыхал и опускал глаза, выражая покорность судьбе; но это был большой притворщик, старик лукавый, как все, у кого есть достаток, кто торгует в городе. Он был полон, с женскими грудями, с матовой сединой, украшенной дорогим черепаховым гребнем; ходил он босиком, но под зонтом, бедра обертывал куском хорошей пестрой материи; кофта на нем была пикейная. От него нельзя было добиться правды, а женщины, девушки все слабы, как все реки извилисты, и молодой рикша понимал это. В столбняке просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Коломбо. О невесте он, казалось, совсем забыл. Он бегал, жадно копил деньги — и нельзя было понять, во что больше он влюблен: в свою беготню или в те серебряные кружочки, что собирал за нее. Один русский моряк снялся с ним в фотографии и подарил ему карточку. Долго после того молодой рикша радостно дивился на свое изображение: он стоял в оглоблях, повернув лицо к воображаемым зрителям, и всякий сразу мог узнать его,— вышла даже бляха на руке. Благополучно, с виду даже счастливо проработал он так с полгода.

И вот сидел он как-то утром, вместе с другими рикшами, под многоствольным банианом на той длинной улице, что идет от Невольничьего Острова к Парку Виктории. Горячее солнце только что показалось из-за деревьев со стороны Мараданы. Но высоко разросся баниан, и уже не было тени у его корней, осыпанных сожженной листвой. Колясочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнущей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе. С этим запахом мешались густые сладкие запахи вечноцветущих окрестных садов, камфары, мускуса и того, что ели рикши; а ели они бананы, маленькие, теплые, нежно-розовые, в золотистой коже, и болтали, сидя на земле, до подбородка подняв острыми углами колени, положив на них руки, а на руки — свои женские головы. Вдруг вдалеке, возле белых оград бунгалоу, испещренных светотенью, показался человек в белом. Он шел посредине улицы той упрямой и твердой походкой, которой ходят только европейцы. И, молнией вскочив с земли, вперегонки кинулась к нему вся стая этих голых длинноно-

гих людей. Они налетели на него со всех сторон, и он грозно крикнул, взмахнув тростью. Робкие и обидчивые, они со всего разбега осадили себя вокруг него. Он взглянул на них,— и седьмой номер с его смоляными волосами показался ему сильнее прочих. На седьмой номер и пал его выбор.

Он был невысок и крепок, в золотых очках, с черными сросшимися бровями, в черных коротких усах, с оливковым цветом лица, на котором тропическое солнце и болезнь печени уже оставили свой смуглый след. Шлем на нем был серый, глаза как-то странно, будто ничего не видя, глядели из угольной тьмы бровей и ресниц сквозь блестящие стекла. Он сел умело — сразу нашел в колясочке ту точку, при которой рикше свободнее бежать, и, взглянув на татуированную кисть левой руки, короткой и сильной, на маленькие часики в кожаной лунке, назвал Йорк-Стрит. Деревянный голос его был тверд и спокоен, но взгляд странен. И рикша подхватил оглобли и понесся вперед, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед.

Был конец марта, самое знойное время. Не прошло и трех часов с восхода солнца, а уж казалось, что близок полдень,— так жарко, светло было всюду и так многолюдно возле лавок в конце улицы. Земля, сады, вся та высокая, раскидистая растительность, что зеленела и цвела над бунгалоу, над их меловыми крышами и над старыми черными лавками, пресытили воздух теплом и благовонием,— лишь дождевые деревья туго свернули свои листья-чашечки. Ряды лавок, вернее, навесов, крытых черной черепицей, увешанных огромными связками бананов, сушеной рыбой, вяленой акулой, были полны покупателями и продавцами, одинаково похожими на темнокожих банщиков. Рикша, подавшись вперед, мелькая длинными ногами, бежал быстро, и еще ни одной капли пота не было на его лоснящейся кокосовым маслом спине, на его округлых плечах, среди которых тонкий ствол девичьей шеи грациозно держал смоляную голову, накаляемую солнцем. В самом конце улицы он вдруг остановился. Чуть повернув лицо, он быстро проговорил что-то по-своему. Англичанин, его седок, увидал концы изогнутых ресниц, уловил слово «бетель» и поднял брови. Как? Такой молодой, крепкий, пробежал каких-нибудь двести шагов — и уже бетель? Не ответив, он ударил рикшу тростью по лопаткам. Но тот,— трусливый, как все сингалезы, но и настойчивый,— только дернул плечом и стрелой полетел вкось по улице, к лавкам.

— Бетель! — повторил он, поворачивая к англичанину гневные глаза и по-собачьи оскалившись.

Но англичанин уже забыл о нем. И через минуту рикша выскочил из лавочки, держа на узкой ладони лист перечного дерева, намазывая его известью и завертывая в него кусочек арекового плода, похожий на кусочек кремня. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги и ничем не опьяняйся, заповедал Возвышенный. Да, но что знал о нем рикша? Смутно звучало в его сердце то, что было смутно воспринято несметными сердцами его предков. В дождливое время года он ходил с отцом к священным шалашам и там, среди женщин и нищих, слушал жрецов, читавших на древнем, всеми забытом языке, и ничего не понимал, только подхватывал общее радостное восклицание при имени Возвышенного. Не раз случалось, что молился при нем отец на пороге кумирни; он преклонялся перед лежачей деревянной статуей, бормоча ее заповеди, поднимая соединенные ладони ко лбу, а потом клал на жертвенник самую мелкую и старую из своих тяжко заработанных монет. Но бормотал он равнодушно,— он ведь только боялся картин на стенах кумирни, изображений муки грешников; он преклонялся и перед другими богами, перед ужасными индусскими статуями, он и в них верил, как верил в силу демонов, змей, звезд, мрака...

Сунув бетель в рот, рикша, в чувствах своих резко изменчивый, дружелюбно улыбнулся англичанину глазами, схватил оглобли и, оттолкнувшись левой ногой, опять побежал. Солнце слепило, сверкало в золоте и стеклах очков, когда англичанин поднимал голову. Солнце жгло его руки и колени, земля горячо дышала, было даже видно, что над ней, как над жаровней, дрожит воздух, но он сидел неподвижно, не дотронулся до верха колясочки. Две дороги вели в город, или, как называют его резиденты, в Форт: одна вправо, мимо малайского капища, по дамбе между лагунами, другая влево, к океану. Англичанину хотелось последней. Но рикша обернулся на бегу, показывая свои окровавленные губы, и сделал вид, что не понимает, чего хотят от него. И англичанин опять уступил,— он рассеянно смотрел вокруг себя. Зеленая лагуна, блестящая, теплая, полная черепах и гнили, окаймленная вдали кокосовой рощей, лежала справа. По дамбе шли, ехали, бежали, щелкая звонками. Стали попадаться рикши в белых кителях и коротких белых панталонах. Европейцы, сидевшие в колясочках, были бледны после томительной ночи, высоко задирали свои белые башмаки, положив колено на колено. Прокатила двуколка, запряженная

серым горбатым бычком,— под ее навесом, в легкой жаркой тени, сидел парс, желтолицый старик, похожий на евнуха, в халате и бархатном черепеннике, шитом золотом. Великан-афганец в белых шароварах, в мягких сапогах с загнутыми носками, в белом казакине и огромном розовом тюрбане, неподвижно стоял над лагуной, глядя на черепах, в теплую жидкую воду. Без конца тянулись влекомые волами длинные крытые арбы. Под их узкими соломенными сводами навалены были тюки товаров, а порою — целая куча коричневых тел, молодых рабочих. Тощие, сожженные зноем старики, с красными от красной пыли ногами, шагали у колес, точно мумии старух. Шли каменщики, дюжие черные томилы... «Пáгода»,— разумея чайный дом, сказал англичанин под теми патриархальными деревьями, что растут при въезде в Форт, под необъятными навесами зелени, светлой от солнца, ее проникающего.

Возле старого голландского здания с аркадами в нижнем этаже остановились. Англичанин посмотрел на часы и ушел пить чай и курить сигару. А рикша сделал полукруг по широкой тенистой улице, по красно-лиловой мостовой, усыпанной желтыми и алыми лепестками кетмий, и, бросив оглобли у древесных корней, с разбегу сел. Он поднял колени и положил на них локти, жарко дыша банным благовонным теплом полдня и бессмысленно поводя глазами за проходящими сингалезами и европейцами, вынул из-за передника тряпку, вытер ею окровавленные бетелем губы, лицо, выпуклости на гладкой груди и, сложив ее бинтом, приложил ко лбу, повязал голову: это было совсем некрасиво, придавало ему вид больного, но ведь многие рикши делают так. Он сидел и, может быть, думал... «Тела наши, господин, различны, но сердце, конечно, одно»,— сказал Ананда Возвышенному, и, значит, можно представить себе, что должен думать или чувствовать юноша, выросший в райских лесах под Коломбо и уже вкусивший самой сильной отравы — любви к женщине, уже вмешавшийся в жизнь, быстро бегущую за радостями или убегающую от печалей. Мара уже ранил его, но ведь Мара и залечивает раны. Мара вырывает из рук человека то, что схватил человек, но ведь Мара и разжигает человека снова схватить отнятое или другое что-нибудь, подобное отнятому... Напившись чаю, англичанин бродил по улице, заходил в магазины, рассматривал в витринах драгоценные камни, слонов и будд из эбенового дерева, всякие пестрые ткани, золотые в черных крапинах шкуры пантер. А рикша, что-то думая или только чувствуя, ярко переглядывался с другими рикшами и ходил позади англичанина, возя за собой колясоч-

ку. Ровно в полдень англичанин дал ему рупию, чтобы он купил себе поесть, а сам ушел в контору большого европейского пароходства. Рикша купил дешевых папирос, стал курить, сильно затягиваясь, глядя на папиросу, как делают это женщины, и выкурил подряд целых пять штук. Сладко одурманенный, сидел он в сквозной тени против трехэтажного дома, где была контора, и вдруг, подняв глаза, увидел, что на балконе под белой маркизой появился его седок и еще человек пять европейцев. Все они смотрели в бинокли на гавань — и вот за крышами пристани показались одна за другой и медленно поплыли три высокие, тонкие мачты, слегка отклоненные назад. С балкона замахали платками, а из-за крыш мрачно, могуче и величаво, отзываясь по рейду и в городе, заревела труба: пароход из далекой Европы, которого ожидал седок рикши номер седьмой, прибыл. С точностью вошел он после двадцатидневного плавания в Коломбо — и то, чего совсем не ожидал рикша, полный надежд и желаний, этот роковой для него обед в доме на лагуне был решен.

Но до обеда, до вечера оставалось еще много времени. И опять вышел на улицу этот ничего не видящий человек в очках. Он простился с теми двумя, что вышли с ним и направились к белой статуе Виктории, к крытой пристани, и опять побрел по улице рикша — на этот раз к отелю, где в эту пору, в полутемной зале, знойную духоту которой развевали, мешали с запахом кушаний вертевшиеся под потолком весла, ело и пило много богатых резидентов и туристов. И опять, как собака, сел рикша на мостовую, на лепестки кетмий. Сквозная тень соединяющихся светло-зелеными вершинами деревьев осеняла улицу, и шли мимо него в этой тени женоподобные сингалезы, навязывая европейцам цветные открытки, черепаховые гребни, драгоценные камни,— один даже таскал за собой на шнурке и продавал зверька в шубке из длинных колючек,— и всё бежали, бежали по этой богатой европейской улице полудикие рикши... Вдали, среди открытой площади, горела белизной большая мраморная женщина, гордая, с двойным подбородком, в порфире и короне, восседавшая на высоком мраморном пьедестале. И оттуда толпой шли только что прибывшие из Европы. На подъезд отеля выскакивали сизые и черные слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них трости, мелкие вещи, и поклонами, сдержанными, изысканными, встречал их на пороге человек, блестевший напомаженным пробором, глазами, зубами, запонками, крахмальным бельем, пикейным смокингом, пикейными панталонами и белой обувью. «Люди постоянно

идут на пиршества, на прогулки, на забавы,— сказал Возвышенный, некогда посетивший этот райский приют первых людей, познавших желания.— Вид, звуки, вкус, запахи опьяняют их,— сказал он,— желание обвивает их, как ползучее растение, зеленое, красивое и смертоносное, обвивает дерево Шала». Следы усталости, истомы от зноя, морской качки и болезней были на серых лицах шедших к отелю. У всех вид был полумертвый, все говорили, не двигая губами, но все шли и один за другим скрывались в сумраке вестибюля, чтобы разойтись по своим комнатам, вымыться, ободриться, а потом, до красноты лица опьянив себя едой, питьем, сигарами и кофе, покатить на рикшах на берег океана, в Сады Корицы, к индусским храмам и буддийским вихарам. У каждого, у каждого в душе было то, что заставляет человека жить и желать сладкого обмана жизни! А рикше, рожденному на земле первых людей, разве не вдвойне был сладок этот обман? Мимо него шли женщины, пожилые, некрасивые, такие же длиннозубые, как его черная мать, сидевшая в далекой лесной хижине, но порою проходили и девушки, миловидные, в белых нарядах, в небольших шлемах, опутанных легкими вуалями, и, возбуждая в нем вожделение, пристально глядели на его поднятые великолепные ресницы, на тряпку вокруг его смоляной головы и на окровавленный рот. А разве она, та, что пропала в этом городе, была хуже их? Тепло тропического солнца взрастило ее. От белой, в голубых цветочках, короткой кофты и такой же юбки, надетых на голое, чуть полное, но крепкое, небольшое тело, она казалась чернее. У нее была круглая головка, выпуклый лобик, круглые сияющие глаза, в которых детская робость уже смешивалась с радостным любопытством к жизни, с затаенной женственностью, нежной и страстной; было коралловое ожерелье на круглой шее, маленькие руки и ноги в серебряных браслетах... Вскочив с места, рикша побежал в один из ближних переулков, где в старом одноэтажном доме под черепицей, с толстыми деревянными колоннами, был простонародный бар. Там он положил на прилавок двадцать пять центов и за это вытянул целый стакан виски. Смешав этот огонь с бетелем, он обеспечил себя блаженным возбуждением до самого вечера, до той поры, когда леса под Коломбо, наполняясь черной жаркой тьмой, таинственно зазвенят журчанием древесных лягушек, когда чащи бамбука затрепещут мириадами огненных искр.

Пьян был и англичанин, выйдя с сигарой из отеля,— глаза его были сонны, порозовевшее лицо стало как будто полнее. Поглядывая на часы и что-то думая, видимо, не зная, как

убить время, он в нерешительности постоял возле отеля, потом приказал везти себя сперва на почту, где опустил в ящик три открытки, а от почты — к саду Гордона, куда даже не зашел,— только посмотрел в ворота на монумент и на аллеи,— а от сада Гордона — куда глаза глядят: к Черному Городу, к рынку в Черном Городе, к реке Келани... И пошел, пошел мотать его пьяный и с головы до ног мокрый рикша, возбужденный еще и надеждой получить целую кучу центов. В самый истомный час послеполуденного тепла и света, когда, посидев две минуты на скамье под деревом, оставляешь на ней темный круг пота, он в угоду англичанину, не знавшему, как дотянуть до обеда, пробежал весь Черный Город, старый, многолюдный, пряно-пахучий,— и много видел полусонный англичанин голых цветных тел и разноцветных тканей на бедрах, много парсов, индусов, желтолицых малайцев, вонючих китайских лавок, черепичных и тростниковых крыш, храмов, мечетей и капищ, праздных матросов из Европы и буддийских монахов — бритых, худых, с безумными глазами, в канареечных тогах, с обнаженным правым плечом и опахалами из листвы священной пальмы. Рикша и его седок неслись среди этой тесноты и грязи Древнего Востока быстро, быстро, точно спасались от кого-то,— вплоть до самой реки Келани, узкой, густой и глубокой, перегретой солнцем, полуприкрытой непролазными зелеными зарослями, низко склонившимися с ее берегов, любимой крокодилами, все дальше, однако, уходящими в глубь девственных лесов от барж с соломенными сводами, нагруженных тюками чая, рисом, корицей, еще не обработанными драгоценными камнями и особенно медлительно плывущих в густом блеске предвечернего солнца... Потом англичанин приказал вернуться в Форт, уже опустевший, закрывший все свои конторы, агентства и банки, побрился в цирульне и неприятно помолодел, покупал сигары, заходил в аптеку... Рикша, мокрый, похудевший, смотрел на него уже неприязненно, глазами собаки, чувствующей приступы бешенства... В шестом часу, пробежав мимо маяка в конце Квинс-Стрит, пробежав тихие и чистые военные кварталы, он выскочил на берег океана, вольно глянувшего ему в глаза своим простором и зелено-золотистым глянцем от низкого солнца, и побежал к Невольничьему Острову.

Все отели в Форте были полны, англичанин жил в простом, за Невольничьим Островом,— и тут еще раз пробежал рикша мимо баниана, под который сел он нынче утром в жажде заработка от этих беспощадных и загадочных белых людей, в упрямой надежде на счастье. Пошли сплошные сады, каменные огра-

ды и голландские крыши бунгалоу, низких, приземистых. Вскочив во двор одного такого бунгалоу, рикша с полчаса отдыхал возле широкой террасы, пока англичанин переодевался к обеду. Сердце у него колотилось, как у отравленного, губы побелели, черты темно-коричневого лица обострились, прекрасные глаза еще больше почернели и расширились. Запах его разгоряченного тела стал неприятен — это был запах теплого чая, смешанного с кокосовым маслом и еще с чем-то, как если взять и растереть в руках кучку муравьев.

Солнце меж тем закатилось. Пожилая девушка полулежала под навесом террасы в качалке, читая при последнем свете дня молитвенник. Увидя ее с улицы, во двор бесшумно вошел немой индус из Мадуры, высокий черный старик с седыми кудрями на груди и на животе, худой, как скелет, в нищенском тюрбане, в длинном переднике из ткани, бывшей когда-то красной, в желтых поперечных полосках. На руке у старика была закрытая корзина из пальмового лыка. Подойдя к террасе, он подобострастно поклонился, приложив руку ко лбу, и присел на землю, поднимая крышку корзины. Не глядя на него, лежавшая в качалке махнула рукой. Но он уже вынимал из-за пояса тростниковую дудку. И рикша вдруг вскочил на ноги и в непонятной ярости громко крикнул на него. Вскочил и старик, захлопнул корзину и, оборачиваясь, побежал к воротам. Но у рикши еще долго были круглые глаза,— совсем как у той, страшной, которую он представил себе — медленно, тугим жгутом выползающую из корзины и с шипением раздувающую свое голубым отблеском мерцающее горло. Быстро падала темнота — уже в темноте вышел на террасу размытый, в белом смокинге англичанин. И рикша покорно кинулся к оглоблям. Была уже ночь, особенно жаркая, как всегда перед наступлением дождей, еще более пахучая, чем день. Еще гуще стал теплый и приторный аромат мускуса, смешанный с запахом теплой земли, тучной от цветочного перегноя. Так было черно среди садов, где бежал рикша, что только по тяжелому дыханию и по скудному фонарику на оглобле можно было понять, что несется впереди встречный. Потом слабо замерцала под черными навесами деревьев гнилая лагуна, закраснели огни, длинно отражавшиеся в ней. Большой двухэтажный дом насквозь светился в этой тропической черноте прорезами окон. Во дворе было темно. Много рикш, сливавшихся с темнотой своими телами и слабо белевших передниками, набежало в этот двор с гостями. А большой, открытый на лагуну балкон сиял свечами в стеклянных колпаках, осыпанных несметной мошкарой,

блестел скатертью длинного стола, уставленного посудой, бутылками и вазами со льдом, и белел смокингами сидевших, которые немолчно, хотя и сдержанно, бормотали себе в горло, меж тем как босоногие полные слуги, похожие на нянек, шуршали голыми подошвами, прислуживая им, а громадная китайская циновка, ребром привешенная над ними к потолку, все махалась и махалась, приводимая в движение малайцами, сидевшими за стеной, не доходящей до потолка, и все веяла, веяла ветром на обедающих, на их холодные, мокрые лбы. Рикша номер седьмой подлетел к балкону. Сидевшие за столом приветствовали запоздавшего гостя радостным ропотом. Гость выскочил из колясочки и вбежал на балкон. А рикша понесся вокруг дома, чтобы опять попасть к воротам, во двор, к другим рикшам, и, обегая дом, вдруг так шарахнулся назад, точно его ударили в лицо палкой: стоя возле открытого и освещенного окна второго этажа,— в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых широких браслетах на обнаженных руках,— на него глядела круглыми сияющими глазами его невеста, та самая девочка-женщина, с которой он уже уговорился полгода тому назад обменяться шариками из риса! Его, внизу, в темноте, она не могла видеть. Но он сразу узнал ее — и, отшатнувшись, застыл на месте.

Он не упал, сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуту, он присел на землю, под вековой смоковницей, вся вершина которой, как райское дерево, горела и трепетала россыпью огненно-зеленых искр. Он долго смотрел на черную круглую головку, на красный шелк, свободно обнимавший маленькое тело, и на поднятые, поправлявшие прическу руки той, что стояла в раме окна. Он сидел на корточках до тех пор, пока она не повернулась и не прошла в глубину комнаты. А когда она скрылась, он мгновенно вскочил на ноги, поймал на земле оглобли и, птицей пролетев через двор за ворота, опять, опять пустился бежать — на этот раз уже твердо зная, куда и зачем он бежит, и уже сам управляя своей сразу освободившейся волей.

— Проснись, проснись! — кричали в нем тысячи беззвучных голосов его печальных, стократ истлевших в этой райской земле предков.— Стряхни с себя обольщения Мары, сон этой краткой жизни! Тебе ли спать, отравленному ядом, пронзенному стрелой? Стократно страдает имеющий стократно милое, все скорби, все жалобы — от любви, от привязанностей сердца — убей же их! Недолгий срок пребудешь ты в покое отдыха, снова и снова, в тысяче воплощений, исторгнет тебя твоя эдем-

ская земля, приют первых людей, познавших желание, но он, этот краткий отдых, все же настанет для тебя, слишком рано выбежавшего на дорогу жизни, страстно погнавшегося за счастьем и раненного самой острой стрелой — жаждой любви и новых зачатий для этого древнего мира, где от века победитель крепкой пятой стоит на горле побежденного!

Показались под черными навесами сросшихся вершинами деревьев огни в открытых лавочках Невольничьего Острова. Рикша жадно съел в одной из них чашечку теплого вареного риса, пересыщенного перцем, и кинулся дальше. Он знал, где живет старик из Мадуры, час тому назад приходивший во двор отеля: он жил вместе с своим племянником, при его большой фруктовой лавке, в низком доме с толстыми деревянными колоннами. Племянник, в грязной европейской одежде из полотна, с громадным колтуном черной вьющейся шерсти на голове, перетаскивал корзины с плодами в глубину лавки, морщась от дыма папиросы, прилепленной к его нижней губе. Он не обратил внимания на бешеный вид мокрого, горячего рикши. И рикша молча вскочил под навес среди столбов, ногой толкнул в глубине под ним дверку, за которой надеялся найти немого старика. В потной руке он крепко держал заветный золотой, который он еще на бегу достал из-за передника, из кожаного гамана, привешенного к поясу. И золотой быстро сделал свое дело: назад рикша выскочил с большой коробкой от сигар, перевязанной шнурком. Он заплатил за нее большую цену, зато она была не пустая: то, что в ней лежало, билось, извивалось, стукало в крышку тугими кольцами и шуршало.

Зачем он захватил с собой колясочку? А он таки захватил ее — и ровным, сильным махом полетел на берег океана, на плац Голь-Фэса. Плац был пуст, далеко темнел в звездном свете. За ним были рассыпаны редкие огоньки Форта, и в небе медленно вращалась мутно-зеркальная вышка маяка, кидавшая дымные полосы белого света только в сторону рейда. Слабый прохладный ветер тянул с океана, ровный, сонный шум которого был чуть слышен. Добежав до прибрежья, до средины дороги, рикша в последний раз бросил тонкие оглобли, в которые рано, но ненадолго впрягла его жизнь, и сел уже не на землю, а на скамью, сел смело, как резидент.

Он, отдавая индусу целый фунт, требовал самую маленькую и самую сильную, самую смертоносную. И она была,— помимо того, что сказочно-красива, вся в черных кольцах с зелеными каемками, с голубой головой, с изумрудной полосой на затылке и траурным хвостом,— она была, при всей своей малости, не-

«Захар Воробьев»

обыкновенно сильна и злобна, а теперь, после того, как ее помотали в деревянной пахучей коробке, особенно. Она, вероятно, как стальная, пружинила, извивалась, шуршала и стукала в крышку. И он быстро развязал, распутал шнурок... Впрочем, кто узнает, как именно сделал он свое страшное дело? Известно лишь то, что укус ее огненно жгуч и с головы до ног пронзает все тело человека несказанной болью, такой, что после него даже обезьяны разражаются рыданиями. И нет сомнения, что, ощутив этот огненный удар, рикша колесом перевернулся на скамье, и коробка полетела от него в сторону. А затем тотчас же распахнулась под ним бездонная тьма, и все понеслось перед его глазами куда-то вкось, вверх: и океан, и звезды, и огни города.

Шум океана хлынул ему в голову — и сразу оборвался: глубокий обморок бывает всегда после этого удара. Но вслед за обмороком человек всегда быстро приходит в себя, как будто только затем, чтобы его тяжко, с кровью стошнило — и опять повергло в небытие. Их, этих обмираний, бывает несколько, и каждое из них, ломая человека, перехватывая ему дыхание, частями уносит человеческую жизнь, человеческие способности: мысль, память, зрение, слух, боль, горе, радость, ненависть — и то последнее, всеобъемлющее, что называется любовью, жаждой вместить в свое сердце весь зримый и незримый мир и вновь отдать его кому-то.

Дней через десять, в темные, жаркие сумерки перед грозой, к большому русскому пароходу, готовому отплыть в Суэц, две пары гребцов гнали в гавани Коломбо шлюпку, в которой полулежал седок рикши номер седьмой. Пароход уже гудел от грохота якорной цепи, когда, выскочив возле громадной железной стены пароходного бока, взбежал он по длинному трапу на палубу. Капитан сперва наотрез отказался принять его: пароход грузовой, заявил он, агент уже уехал,— это невозможно. «Но я чрезвычайно, чрезвычайно прошу вас!» — возразил англичанин. Капитан с удивлением взглянул на него: на вид крепок, энергичен, но на лице налет нездорового загара, а глаза за блестящими очками стоячие, как будто ничего не видящие и беспокойные. «Подождите до послезавтра,— сказал капитан,— послезавтра будет немецкий почтовый пароход».— «Да, но провести еще две ночи в Коломбо мне очень трудно,— ответил англичанин.— Этот климат изнуряет меня, я болен. Я измучен этими цейлонскими ночами, бессонницей и всем тем,

что чувствует всякий нервный человек перед заходящими грозами. А взгляните на эту тьму, на тучи, заступившие все горизонты: ночь опять будет ужасная, период дождей, собственно, уже начался». И, пожав плечами, подумав, капитан уступил. И через минуту тонкие, как ужи, сингалезы уже тащили по трапу сундук в черной лакированной коже, весь испещренный разноцветными этикетками отелей и помеченный красными инициалами.

Свободная докторская каюта, которую предложили англичанину, была очень тесна и душна. Но англичанин нашел ее прекрасной. На скорую руку разложивший в ней вещи, он вышел через столовую на верхнюю палубу. Все быстро тонуло в темноте. Пароход уже снялся и поворачивал к открытому морю. Справа как бы плыли на него другие пароходы, огни на мачтах, огни Форта. Слева, из-под высокого борта, зыбко неслась к низменному берегу, к складам угля и к черной гуще тонкоствольных кокосовых лесов гладь темной воды, еще отражавшей тьму и печаль туч, и своим зыбким стремлением кружила голову. Все меняя направление, все туже дул откуда-то влажный, тошнотворно-благовонный, мягкий ветер. Внезапно молчаливые тучи распахнулись такой бездной бледно-голубого света, что в самой глубине лесов мелькнули озаренные им стволы пальм, бананов и хижины под ними. Англичанин испуганно моргнул, оглянулся на плывущий уже слева от него бледный мол с красным огоньком на конце, на свинцовую даль океана за молом — и быстро пошел назад, в каюту.

Старик-лакей, человек злой от усталости, без нужды подозрительный и наблюдательный, несколько раз заглядывал перед обедом за ее занавеску. Англичанин сидел в складном холщовом кресле, держа на коленях толстую тетрадь в кожаном переплете, писал в ней золотым пером, и выражение его лица, когда он поднимал его, блестя очками, было и тупо, и вместе с тем удивленно. Потом, спрятав перо, он задумался, как бы слушая шум и шорох волн, тяжело несущихся за стеной каюты. Лакей прошел мимо, мотая громко звенящим колокольчиком. Англичанин встал и догола разделся. С ног до головы обтершись губкой, насыщенной водой с одеколоном, он выбрился, подровнял короткие толстые усы, причесал щетками свои черные волосы на косой ряд, надел свежее белье, смокинг и пошел к обеду с обычным своим решительным, солдатским видом.

Моряки, уже давно сидевшие за столом и бранившие его за опоздание, встретили его преувеличенно любезно, друг пред другом щеголяя знанием английского языка. Он ответил им

сдержанной, но не меньшей любезностью и поспешил сказать, что ему очень нравится русский стол, что он был в России, в Сибири... что он вообще много путешествовал и всегда прекрасно переносил путешествия, чего, однако, нельзя сказать о его последнем пребывании в Индии, на Яве и на Цейлоне: тут он захворал печенью, расстроил себе нервы, дошел даже до странностей — вот вроде той, которую он проявил час тому назад, так неожиданно явившись на пароход... За кофе он угощал моряков коньяком и ликерами, принес коробку толстых египетских папирос и поставил ее на стол открытой, для общего пользования. Капитан, человек с умными и твердыми глазами, во всем старающийся быть европейцем, завел речь о колониальных задачах Европы, о японцах, о будущем Дальнего Востока. Внимательно слушая, англичанин возражал, соглашался. Говорил он складно и не просто, а так, точно читал хорошо написанную статью. И порою внезапно смолкал, еще внимательнее прислушиваясь к шороху волн за открытыми дверями. От грозы ушли. Давно потонула в черном бархате долго переливавшая алмазами цепь огней Коломбо. Теперь пароход был в безграничной тьме, в пустоте океана и ночи. Столовая помещалась на палубе, под капитанским мостиком. И тьма резко чернела в открытых дверях и окнах, стояла и глядела в ярко освещенную столовую. Влажно дуло из этой тьмы — влажным, свободным дыханием чего-то от века свободного — и свежесть, доходя до сидящих за столом, давала им чувствовать запах табачного дыма, горячего кофе и ликеров. Но порою свет электричества вдруг падал — двери, окна мелькали бледно-синими квадратами: беззвучно и несказанно широко распахивалась вокруг парохода голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, угольной чернотой заливало горизонты — и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, еще погруженного в довременный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, все до основания потрясающий гул грома. И тогда англичанин как бы каменел на минуту.

— В сущности, это страшно! — сказал он своим мертвым, но твердым голосом после одного особенно ослепительного сполоха. И, встав с места, подошел к двери, зиявшей темнотой.— Очень страшно,— сказал он, как бы разговаривая сам с собой.— И страшнее всего то, что мы не думаем, не чувствуем и не можем, разучились чувствовать, как это страшно.

— Что именно? — спросил капитан.

— А вот хотя бы то,— ответил англичанин,— что под нами и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, о которой

так ужасно говорит Библия... О,— строго сказал он, вглядываясь в темноту,— и вблизи и вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, цвета воронова крыла... Это очень жутко — быть капитаном? — серьезно спросил он.

— Нет, почему же,— ответил капитан с притворной небрежностью.— Дело ответственное, но... Все зависит от привычки...

— Скажите лучше — от нашей тупости,— сказал англичанин.— Стоять вон там, на вашем мостике, по бокам которого мутно глядят сквозь толстое стекло два этих больших глаза, зеленый и красный, и идти куда-то в тьму ночи и воды, простирающейся на тысячи миль вокруг,— это безумие! Но, впрочем, не лучше,— прибавил он, опять заглядывая в двери,— не лучше и лежать внизу, в каюте, за тончайшей стеной которой, возле самой твоей головы, всю ночь шумит, кипит эта бездонная хлябь... Да, да, разум наш так же слаб, как разум крота, или, пожалуй, еще слабей, потому что у крота, у зверя, у дикаря хоть инстинкт сохранился, а у нас, у европейцев, он выродился, вырождается!

— Однако кроты не плавают по всему земному шару,— усмехаясь, ответил капитан.— Кроты не пользуются паром, электричеством, беспроволочным телеграфом... Вот хотите — я буду сейчас говорить с Аденом? А ведь до него десять дней ходу.

— И это страшно,— сказал англичанин и строго взглянул сквозь очки на засмеявшегося механика.— Да, и это очень страшно. А мы, в сущности, ничего не боимся. Мы даже смерти не боимся по-настоящему: ни жизни, ни тайн, ни бездн, нас окружающих, ни смерти — ни своей собственной, ни чужой! Я участник бурской войны, я, приказывая стрелять из пушек, убивал людей сотнями — и вот не только не страдаю, не схожу с ума, что я убийца, но даже не думаю о них никогда.

— А звери, дикари — думают? — спросил капитан.

— Дикари верят, что так надо, а мы нет,— сказал англичанин и замолчал, пошел ходить по столовой, стараясь ступать тверже.

Сполохи, уже розовые, мелькавшие по звездам, слабели. Ветер дул в окна и двери сильнее и прохладнее, черная тьма за дверями шумела тяжелее. Большая раковина, пепельница, ползала по столу. Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимает, потом валит на бок, расступается — и пол все глубже уходит из-под ног.

Моряки, допив кофе, накурившись, сдерживая зевоту и поглядывая на своего странного пассажира, посидели, помолчали еще несколько минут, потом, желая ему покойной ночи, стали браться за фуражки. Остался один капитан. Он курил и водил за англичанином глазами. Англичанин, с сигарой, качаясь, ходил от двери к двери, раздражая своей серьезностью, соединенной с рассеянностью, старика-лакея, убиравшего со стола.

— Да, да,— сказал он,— нам страшно только то, что мы разучились чувствовать страх! Бога, религии в Европе давно уже нет, мы, при всей своей деловитости и жадности, как лед холодны и к жизни, и к смерти: если и боимся ее, то рассудком или же только остатками животного инстинкта. Иногда мы даже стараемся внушать себе эту боязнь, увеличить ее — и все же не воспринимаем, не чувствуем в должной мере... вот, как не чувствую и я того, что сам же назвал страшным,— сказал он, показывая на открытую дверь, за которой шумела черная темнота, уже высоко поднимавшая с носа и валившая скрипящий переборками пароход то на один, то на другой бок.

— Это на вас Цейлон так подействовал,— заметил капитан.

— О, несомненно, несомненно!— согласился англичанин.— Мы все,— коммерсанты, техники, военные, политики, колонизаторы,— мы все, спасаясь от собственной тупости и пустоты, бродим по всему миру и силимся восхищаться то горами и озерами Швейцарии, то нищетой Италии, ее картинами и обломками статуй или колонн, то бродим по скользким камням, уцелевшим от каких-то амфитеатров в Сицилии, то глядим с притворным восторгом на желтые груды Акрополя, то присутствуем, как при балаганном зрелище, при раздаче священного огня в Иерусалиме, платим бешеные деньги за то, чтобы терпеть мучения от проводников и блох в могильниках и глиняных капищах Египта, плывем в Индию, в Китай, в Японию — и вот только здесь, на земле древнейшего человечества, в этом потерянном нами эдеме, который мы называем нашими колониями и жадно ограбляем, среди грязи, чумы, холеры, лихорадок и цветных людей, обращенных нами в скотов, только здесь чувствуем в некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко всем этим Озирисам, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз чувствовал, что мог бы поклоняться разве только им, этим страшным богам нашей прародины,— сторукому Браме, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого раздавалось поистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в гробовую крышку мира... Да, только благодаря

Востоку и болезням, полученным мной на Востоке, благодаря тому, что в Африке я убивал людей, в Индии, ограбляемой Англией, а значит, отчасти и мною, видел тысячи умирающих с голоду, в Японии покупал девочек в месячные жены, в Китае бил палкой по головам беззащитных обезьяноподобных стариков, на Яве и на Цейлоне до предсмертного хрипа загонял рикш, в Анарадхапуре получил в свое время жесточайшую лихорадку, а на Малабарском берегу болезнь печени,— только благодаря всему этому я еще кое-что чувствую и думаю. Те страны, тех несметных людей, что еще живут или младенчески-непосредственной жизнью, всем существом своим ощущая и бытие, и смерть, и божественное величие вселенной, или уже прошли долгий и трудный путь, исторический, религиозный и философский, и устали на этом пути, мы, люди нового железного века, стремимся поработить, поделить между собою, и называем это нашими колониальными задачами. И когда этот дележ придет к концу, тогда в мире опять воцарится власть какого-нибудь нового Тира, Сидона, нового Рима, английского или немецкого, повторится, непременно повторится и то, что предрекли Сидону, возомнившему себя, по слову Библии, богом, иудейские пророки, Риму — Апокалипсис, а Индии, арийским племенам, поработившим ее,— Будда, говоривший: «О, вы, князья, властвующие, богатые сокровищами, обращающие друг против друга жадность свою, ненасытно потворствующие своим похотям!» Будда понял, что значит жизнь Личности в этом «мире бывания», в этой вселенной, которой мы не постигаем,— и ужаснулся священным ужасом. Мы же возносим нашу Личность превыше небес, мы хотим сосредоточить в ней весь мир, что бы там ни говорили о грядущем всемирном братстве и равенстве,— и вот только в океане, под новыми и чуждыми нам звездами, среди величия тропических гроз, или в Индии, на Цейлоне, где в черные знойные ночи, в горячечном мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, запахах, в этом страшном Все-Едином,— только там понимаем в слабой мере, что́ значит эта наша Личность... Знаете ли вы,— сказал он, останавливаясь и блестя очками на капитана,— буддийскую легенду?

— Какую? — спросил капитан, уже тайком зевнувший и посмотревший на часы.

— А вот какую: ворон кинулся за слоном, бежавшим с лесистой горы к океану; все сокрушая на пути, ломая заросли, слон обрушился в волны — и ворон, томимый «желанием», пал за ним и, выждав, пока он захлебнулся и вынырнул из

волн, опустился на его ушастую тушу; туша плыла, разлагаясь, а ворон жадно клевал ее; когда же очнулся, то увидал, что отнесло его на этой туше далеко, туда, откуда даже на крыльях чайки нет возврата,— и закричал жалким голосом, тем, которого так чутко ждет Смерть... Ужасная легенда!

— Да, это ужасно,— сказал капитан.

Англичанин замолчал и опять пошел от двери к двери. Из шумящей темноты слабо донеслись отрывистые, печальные звуки второй склянки. Капитан, посидев из приличия еще минут пять, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в свою большую покойную каюту. Англичанин, что-то думая, продолжал ходить. Лакей, протомившись в буфете еще с полчаса, вошел и с сердитым лицом стал тушить электричество, оставил только один рожок. Англичанин, когда лакей скрылся, подошел к стене, потушил и этот рожок. Сразу пал мрак, шум волн сразу стал как будто слышнее, и сразу раскрылись в окнах звездное небо, мачты, реи. Пароход скрипел и лез с одной водяной горы на другую. Он размахивался все шире, подымаясь и опускаясь,— и в снастях широко носились, летая то в бездну кверху, то в бездну книзу, Канопус, Ворон, Южный Крест, по которым еще мелькали розовые сполохи.

Капри. 1914

ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук,— китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслажде-

ние жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко,— любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere; [1] входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония,— разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами,— с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой,— и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувст-

[1] «Смилуйся» *(лат.)* — католическая молитва.

вие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с

певинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины,— в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско,— задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады,— в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода,— та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес,— наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же милый, простой и

скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен,— очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована, — но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятного восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих,— его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам.

А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни,— сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away! [1] Via! [2]

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы, шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и

[1] Прочь! *(англ.)*
[2] Прочь! *(итал.)*

черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами, — безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу,— деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного Грота и послушав абруццких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда,— очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой

зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком,— уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая,— только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то внизу. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями, и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему,— совсем стариком,— уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе

легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсинных деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания,— несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, поптичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче

ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь,.однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско,— так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко,— но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes» [1], прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

---

[1] да *(англ)*.

— Я видел ее на открытках,— сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом.— А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр,— ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к вещу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

— На sonato, signore?[1]

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in...[2]

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с

---

[1] Вы звонили, синьор? *(итал.)*

[2] Да, входите... *(англ.)*

сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением:— Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично,— сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро

пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету,— как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась ко́робом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер,— самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора,— прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от

него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско,— его больше не было,— а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. «Già é morto» [1],— сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О нет, мадам,— поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско.— Это совершенно невозможно, мадам,— сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто

[1] Уже умер *(итал.)*.

не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере,— оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан,— потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону.— Partenza! [1] — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов,— и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:

— Ha sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов,— принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья,— целую ночь играл в кости в траттории,— и все хлестал свою

[1] Отправление! *(итал.)*

крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками,— тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты.

Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццких горца. У одного под кожаным плащом была волынка,— большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, матерь божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова

Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что́ было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля,— клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой

человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

Октябрь. 1915

СНЫ ЧАНГА

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут «на берегу», как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная.

В ней всегда, кроме того, сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит,— на спине, с закрытыми глазами и серым лицом,— неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспать и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь, и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех прохо-

дящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи,— строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: «Ve'y good dog, ve'y good!» [1]— И щенка купили,— всего за целковый,— назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мглистым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море

[1] Очень хорошая собака, очень хорошая! *(искаженное англ.)*

буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. Вконец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая,— и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна ударила в корму — это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем ободняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна

правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда после мучительного, беспокойного океана вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И, очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи. И случилось с Чангом то же, что не раз случилось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную, блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И, увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом,— всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед

помощник капитана,— тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос,— человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу:

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее,— ишь какое оно от островков и рифов пестрое,— надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И, говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину.

— Лапы с карты прочь! — крикнул он начальственно.— Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван,

вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица жена и, в-третьих, чудесная дочка и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка резвая, любопытная, настойчивая,— плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней,— ну, скажем, почти в ней,— а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он.— Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг,— сказал капитан,— очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще добавил:

— Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Бли-

зился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «нет, брат, жарко!» — сказал он,— но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще не улегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перекочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев,— людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с той целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных,— потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрестанным

«Митина любовь»

ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье,— и просидят там до поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне и без конца сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете,— злая и низкая.— Ты посмотри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности,— нет даже простой жалости. Жизнь — скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запевает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее,— и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то,— и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

— Да, так как это было? — не то снится, не то думается ему.— Да, помню: хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим из угла электриче-

ским вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило,— море точно втягивало его,— и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильней заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что *все-таки* он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту,— и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него...

Ночь же настала, страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу,— ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана!— пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады белогненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и холодил густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая

эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье,— стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, под шум черных волн за окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! *Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят.* Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксатуара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцирных волнах?

— У-у! — сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака.— Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя,— в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и такими далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла,— только быстро взглянула на меня,— и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «Помоги мне расстегнуть сзади платье»,— и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки — и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услыхал запах

ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна,— некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами,— и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свиньи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» А-а, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают,— идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник уже на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусон-

ный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день,— сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах,— Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины,— точно две сестры разных возрастов,— а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается.

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу.— Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет — есть на земле еще какая-то, мне неведомая, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан; в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда,— третья,— а какая она,— про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

Васильевское. 1916

СТАРУХА

Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, плакала.

Святочная метель, вихрями носившаяся по снежным крышам и снежным пустым улицам, стала мутно синеть, наливаться сумерками, а в доме темнело.

Там, в зале, чинно стояли кресла вокруг стола под бархатной скатертью, над диваном тускло блестела картина — зеленоватый кружок луны в облаках, дремучий литовский лес, тройка лошадей, сани, из которых розовыми лучами палили охотники, и кувыркающиеся за санями волки; в одном углу до потолка раскидывалось из кадки мертвыми листьями сухое тропическое растение, а в другом воронкой зиял хобот граммо-

фона, оживавший только по вечерам, при гостях, когда из него вопил в притворном отчаянии чей-то хриплый голос: «Ах, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой всегда!» В столовой текло с мокрых тряпок, лежавших на подоконниках, в клетке, крытой клеенкой, спала, завернув головку под крылышко, больная тропическая птичка,— сном тонким и, в силу непривычки к нашим Святкам, грустным, грустным. В узкой комнате рядом со столовой крепко, с храпом спал квартирант, пожилой холостяк, учитель прогимназии, в классах дравший детей за волосы, а дома усердно работавший над большим, многолетним сочинением: «Тип скованного Прометея в мировой литературе». В спальне тяжко и зло спали хозяева после страшного скандала за обедом. А старуха сидела на лавке в темнеющей кухне и разливалась горькими слезами.

Скандал-то за обедом начался опять из-за нее! Хозяйка, которой по годам уже давно следовало стыдиться ревновать, с ума сходила от ревности и наконец-таки поставила на своем — наняла в кухарки старуху. Хозяин, который уже давно красился, но все свои помыслы устремлял только на женский пол, решил сжить эту старуху со свету. И правда, была старуха куда как нехороша собой: высокая, гнутая, узкоплечая, глухая и подслепая, от робости бестолковая, готовила, несмотря на все свои старания, из рук вон скверно. Она трепетала за каждый свой шаг, из сил выбивалась, чтобы угодить... Не радостно было ее прошлое: ну, конечно, муж разбойник и пьяница, потом, после его смерти, чужие углы и поборы под окнами, долгие годы голода, холода, бесприютности... И уж как же была старуха счастлива, что опять она стала не хуже людей,— сыта, тепла, обута, одета, служит у чиновника! Как молилась она перед сном, стоя на коленках на полу кухни, всю свою душу отдавая богу за милость, столь нежданно ей оказанную, как просила его не лишать ее этой милости! Но хозяин поедом ел ее: нынче за обедом он так гаркнул на нее, что у нее руки-ноги оторвались от страха, а миска со щами полетела на пол. И что только было потом между хозяевами! Даже учитель, весь обед думавший о Прометее, не выдержал, отвел вбок кабаньи глазки и молвил:

— Не ссорьтесь, господа, ради высокоторжественного праздника!

Вот дом затих, успокоился. Посинел во дворе дым вьюги, выше крыш намело сугробы, завалило ворота и калитку... Бледный, ушастый мальчик в валенках, сирота, хозяйкин племянник, долго учил уроки, приладившись к мокрому подокон-

нику в своей каморке рядом с кухней. Он был отрок прилежный и назубок решил вытвердить то, что ему задали на рождественские каникулы. Он не хотел огорчать своих воспитателей и благодетелей, он, им на утешение, отечеству на пользу, старался на всю свою жизнь запомнить, что две с половиной тысячи лет тому назад греки (народ вообще мирный, с утра до вечера соборно участвовавший в театральных трагедиях и совершавший жертвоприношения, а в свободные часы вопрошавший оракула) наголову разбили однажды войско персидского царя при помощи богини Афины-Паллады, да могли бы пойти по пути цивилизации и дальше, если бы не изнежились, не развратились и не погибли, как было это, впрочем, со всеми древними народами, неумеренно предававшимися идолопоклонству и роскоши. А запомнив, закрыл книжку и долго скреб ногтями лед с оконного стекла. Потом встал, неслышно подошел к двери в кухню, заглянул за дверь — и опять увидел то же самое: в кухне тихо и сумрачно, рублевые стенные часы, у которых стрелки не двигались, всегда показывали четверть первого, стучат необыкновенно четко и торопливо, свинка, зимующая в кухне, стоит возле печки и, до глаз запустив морду в лохань с помоями, роется в них... а старуха сидит и плачет: утирается подолом — и рекой течет!

Плакала она и потом,— засветив лампочку и раскалывая на полу тупым кухонным ножом сосновые щепки для самовара. Плакала и вечером, подав самовар в хозяйскую столовую и отворив дверь пришедшим гостям,— в то время, когда по темной, снежной улице брел к дальнему фонарю, задуваемому вьюгой, оборванный караульщик, все сыновья которого, четыре молодых мужика, уже давно были убиты из пулеметов немцами, когда в непроглядных полях, по смрадным избам, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы, а в далекой столице шло истинно разливанное море веселия: в богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных кабаках, называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популярности, чем попадя били друг друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего; в одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам некто с совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить ему какие-то врата; в другом выезжал

на сцену, верхом на старой белой лошади, гремевшей по полу копытами, и, прикладывая руку к бумажным латам, целых пятнадцать минут пел за две тысячи рублей великий мастер притворяться старинными русскими князьями, меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными лысинами пристально глядели в бинокли на женский хор, громким пением провожавший этого князя в поход, и столько же нарядных дам ели в ложах шоколадные конфеты; в третьем старики и старухи, больные тучностью, кричали и топали друг на друга ногами, притворяясь давным-давно умершими замоскворецкими купцами и купчихами; в четвертом худые девицы и юноши, раздевшись донага и увенчав себя стеклянными виноградными гроздьями, яростно гонялись друг за другом, притворяясь какими-то сатирами и нимфами... Словом, до самой поздней ночи, пока одни караулили, а другие укладывались спать или веселились, горькими слезами плакала глупая уездная старуха под хриплый, притворно-отчаянный крик, долетавший из гостиной ее хозяев:

Ах, тя́жело, тя́жело, господа,
Жить с одной женой всегда!

1916

РОЗА ИЕРИХОНА

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгориях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины — долы Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели всё те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

СКАРАБЕИ

Вижу себя в Каире, в Булакском музее.

Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал:

— Еще один великий царь...

Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и тонко пахло — священный аромат мумий, как бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали быстро проходившие по звонким коридорам и сбегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников.

А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое и сухое благовоние, древнее, священное! Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, подумать только: вот я возле самого Великого Рамзеса, его подлинного

тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его!

А рядом — скарабеи Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скарабеи,— триста чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся, бессмертной жизни. Мариетт собрал их — и выставил на удивление всему человечеству:

— Вот вся история Египта, вся жизнь его за целых пять тысяч лет.

Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге — игрушечная коллекция камешков! И камешки эти — символ вечной жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радоваться?

Все-таки радоваться. Все-таки быть в том вовеки неистребимом и самом дивном, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури,— с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет — не пройдет только эта вера!

⟨10 мая. 1924⟩

МУХИ

Прокофий лежит на нарах под полатями уже третий год: отнялись, высохли ноги.

Деревня в завале, по косогорам над оврагами. Места глухие, богом забытые. Да еще рабочая пора. Окрестные поля, усеянные копнами, голы и желты, похожи на песчаную пустыню, а в деревне ни души, только старики и дети. Нагоняя дремоту, поют петухи. Скучно, как тоскующий немой, мычит на выгоне теленок. В тени от пунек дремлют, смахивая с ушей мух, собаки. На порогах жарких изб попискивают, поклевывают цыплята. Тускло печет солнце, и с востока, из-за покатых полей, все собирается, синеет и все ничем не разрешается молчаливая тучка.

И день за днем лежит он в этой тишине и скуке. Был я у него в прошлом году в эту же пору, был нынешней весной и вот опять заехал. Все то же: в избе полутемно, жарко, на столе хлебы,

прикрытые рваным армяком; на этом армяке, на стеклах и по степам кипят несметные мухи,— просто все черно от мух,— а он лежит на парах, головой к боку печки, до пояса прикрытый старой пегой попоной, и, усмехаясь, курит трубку. Посасывает и усмехается. Под попоной — его неподвижные ноги. Они так противоестественно тонки, так неприятны и страшны даже через полосатые портки, что я поспешил отвести глаза, когда он откинул попону и показал мне их. А он еще пошутил:

— Посмотрите-ка, что делается! Не ноги, а коклюшки! Хоть кружево плети!

Я сижу возле нар на перевернутом ведре, кручу папироску и думаю о том, что вот через полчаса я уеду, а он опять останется в этой избе, опять будет лежать да смотреть на противоположную стену, на черные доски полатей, висящих над ним. Я ужасаюсь при одной мысли о таком существовании, а он лежит себе как ни в чем не бывало и даже более того — чувствует себя, видимо, прекрасно. Что это такое? Знаменитое русское терпение? Восточная покорность судьбе? Святость? Нет, все не то. Ничего святого в его лице нет — обыкновенное лицо мужика средних лет, поражающее только ясностью и бодростью глаз. И он усмехается и говорит:

— Верите ли, когда меня переносят на коник, чтобы, значит, тут перестлать, оправить, мне самому чудно глядеть на эти ноги, до того они маленькие, ребячьи. Главное дело, волочатся совсем как чужие...

Мне нестерпимо даже думать об этих ногах. А он сосет трубку и, отмахиваясь от мух, откидывая со лба длинные волосы, шутит и над волосами:

— Ишь оброс! Хоть в архиреи постригай!

Чтобы переменить разговор, я говорю:

— Ну и мух у вас, Прокофий!

Он оживленно подхватывает:

— Мух? Содом! Я их с утра до вечера мну, великие тысячи помял. Плюну на стену, они насядут роем, а я их и мну. Палкой. Так сбоку меня и лежит.

И он шарит правой рукой по постели и показывает мне точно смолой вымазанную палку. В смоле и стена: вся в мушином тесте.

— Да что ж,— говорит он,— не будь их, что бы я мог делать? А тут весь день занят.

— Ну, а еще что ж ты делаешь?

— А что ж еще? Да ничего. Лежу, курю, думаю.

— О чем?

— Да, конечно, так, пустяки, о чем придется. Об хозяйству мало теперь стал думать. Придут с поля, начнут рассказывать, а я как-то без внимания. Нужды у нас, сами знаете, нету, ну и не думается. Думаю больше о прежнем, когда здоровый, молодой был.

— Ах, Прокофий,— говорю я, не выдержав,— все-таки как это ужасно то, что случилось с тобой!

Но он спокойно глядит мне в глаза и спокойно, не вынимая трубки изо рта, отвечает:

— Нет, барин, это только мнение. Это вам только так кажется по вашему здоровью. А захворали бы не хуже меня, что ж бы вы сделали? Лежали бы себе да лежали. Здоровому, понятно, думается утешить себя разными разностями, побогаче стать, перед людьми погордиться, а лег — и мухам рад. Вы вот норовите как бы что придумать, сочинить получше, а я как бы побольше мух помять. И все одна честь, одно удовольствие. И смерть то же самое. Кабы она уж правда была так страшна, никто и не умирал бы, никогда бы господь такой муки не допустил. Нет, это только одно мнение...

Через полчаса я прощаюсь с ним, выхожу из избы и сажусь на лошадь со странным чувством какой-то глупой легкости ко всему окружающему. А может быть, и в самом деле все хорошо, все слава богу и довольствоваться, радоваться можно и впрямь очень малым? Как приятно, например, поставить ногу в стремя, нажать на него и, перекинув другую ногу через седло, почувствовать под собою его скользкую кожу и живое движение сильной молодой лошади! Тронув повод, я крупным шагом еду по выгону. Затихло в деревне еще больше. Даже петухи смолкли, и теленок лежит и дремлет, прикрыв свои крупные белые ресницы. Еду вдоль изб, мимо их жарко блестящих против предвечернего солнца окон, поворачиваю за угол крайней избы, поднимаюсь проселком на изволок, в степь... Вот уже потянуло навстречу сухим и сладким ветерком, и открывается впереди бесконечная равнина, далекие горизонты июльских полей, пустынная желтизна которых переходит в чуть видных далях в нечто прелестное, манящее, смутно-сиреневое...

Да, а Прокофий лежит, и у него свои радости. Когда я встал, покидая его, вероятно, еще на год, он просто и весело подал мне руку и пожал ее. И пожал совсем не по-прежнему, совсем не так, как бывало: не одними концами пальцев, бывших прежде не гибкими и корявыми, не с мужицкой неловкостью и несмелостью, а всей дланью, с приятной и дружеской силой и, главное, совсем как равный равному. И, кажется, это больше

всего поразило меня, больше всего дало почувствовать, до чего он телесно и душевно переродился, до чего преобразили его эти годы, эти долгие дни одинокого лежанья под полатями и сокровенные мысли, соединенные с непрестанной забавой истребления мух, перешедшей уже в чисто охотничью страсть, почти в цель жизни: вот, мол, завтра, бог даст, проснусь, и опять пошла работа. Странная работа и странные мысли! Давит, мнет мушиные рои — и со спокойной таинственностью созидает в глубине своего существа какую-то страшную, а вместе с тем радостную мудрость... Мудрость ли это или же просто какой-то ясноокий идиотизм? Блаженство нищих духом или безразличие отчаяния?

Ничего не понимаю, еду и смотрю вдаль.

9 июня. 1924

КНИГА

Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю,— главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где,— особенно

к югу,— еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он.— Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет — не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, эта усадьба живет для ее флейтового пения?

«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте,— для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

20 августа. 1924

МИТИНА ЛЮБОВЬ

I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капели, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасы-

вали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

— Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

— Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помешались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

— Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? — спросила Катя.

— Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ,— ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным.— Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

— Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства,— сказала Катя.— Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь,— сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого,— может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день!— Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? — негромко и настойчиво спросила она, уже с деланной обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала:

Меж нами дремлющая тайна.
Душа душе дала кольцо...

Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны,— Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это, как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.

В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрябина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

— Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама — ее будущая свекровь.

II

Потом все шло как будто по-прежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ее мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья). Забегала и Катя к Мите, в его студенческие номера на Молчановке, и свидания их, как и прежде, почти сплошь протекали в тяжком дурмане поцелуев. Но Мите упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то изменилось, стало меняться в Кате.

Быстро пролетело то незабвенное легкое время, когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить (и хоть с утра до вечера) только друг с другом,— когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь,— морозный, погожий, день за днем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая — подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с первой. И все же ничего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого, и Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних; кроме того, у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали — то, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее: внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, а вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Кате голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Мите об этих похвалах. Директор сказал ей: «Ты гордость моей школы»,— он всем своим ученицам говорил «ты» — и, помимо общих занятий, стал заниматься с ней постом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал учениц, каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходить в голову, что теперь директор имеет виды на Катю, которая хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает и потому уже как бы находится с ним в мерзких, преступных отношениях. И мысль эта мучила тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор! Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать

какие-то другие интересы. К кому, к чему? Митя не знал, он ревновал Катю ко всем, ко всему, главное, к тому общему, им воображаемому, чем втайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреоборимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно.

Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:

— Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. И из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!

Мать возразила:

— А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит.

— Нет, мама,— сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужие слова,— ревность это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят,— сказала она, нарочно не глядя на Митю.

— А по-моему,— возразила мать,— ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где сам бог называется ревнителем и мстителем...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь, в эти часы, Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мите и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоестественным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось,— все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и, прежде всего, именно ее, а не воображаемого соперника.

III

В день экзамена Кати, который состоялся наконец (на шестой неделе поста), как будто особенно подтвердилась вся правота Митиных мучений.

Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пущей гордости делал ей иногда замечания, говоря негромко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

— Поменьше читки,— говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью.— Не играй, а переживай,— говорил он раздельно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания. Катя горела жарким румянцем, смущением, голосок ее иногда срывался, дыхания не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения в той ненавистной для Мити среде, в которой уже всеми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось короче, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах. «Девушка пела в церковном хоре»,— с деланной, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате,— как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь,— и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!

После экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не верил им с той легкостью, как прежде. Катя, вспоминая экзамен, говорила:

— Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и читала-то так хорошо только для тебя одного!

Но он не мог забыть, что чувствовал он на экзамене, и не мог сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его. Чувствовала его тайные чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

— Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так дурно во мне! И чего ты, наконец, хочешь от меня?

Но он и сам не понимал, за что он любил ее, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастает вместе с той ревнивой борьбой, которую он вел с кем-то, с чем-то из-за нее, из-за этой любви, из-за ее напрягающейся силы, все более возрастающей требовательности.

— Ты любишь только мое тело, а не душу! — горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужие, театральные слова, но они, при всей их вздорности и избитости, тоже касались чего-то мучительно неразрешимого. Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел... Что это значит вообще — любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была непохожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он расстегивал ее кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душу потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности?

IV

Она все больше менялась.

Успех на экзамене много значил. И все-таки были на то и какие-то другие причины.

Как-то сразу превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую. Мите теперь просто стыдно было за свой темный коридор, когда она приезжала,— теперь она не приходила, а всегда приезжала,— когда она, шурша шелком, быстро

шла по этому коридору, опустив на лицо вуальку. Теперь она бывала неизменно нежна с ним, но неизменно опаздывала и сокращала свидания, говоря, что ей опять надо ехать с мамой к портнихе.

— Понимаешь, франтим напропалую! — говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не верит ей, и все-таки говоря, так как говорить теперь стало совсем не о чем.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отлете сидя на кровати Мити и с ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А перед тем как уехать и сказать, что нынче вечером ее опять не будет дома, — опять надо к кому-то с мамой! — она неизменно проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его, наградить за все его «глупые», как она выражалась, мучения: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала с кровати и, вильнув бедрами по его ногам, говорила поспешным шепотом:

— Ну, целуй же меня!

V

И в конце апреля Митя наконец решил дать себе отдых и уехать в деревню.

Он совершенно замучил и себя и Катю, и мука эта была тем нестерпимее, что как будто не было никаких причин для нее: что в самом деле случилось, в чем виновата Катя? И однажды Катя, с твердостью отчаяния, сказала ему:

— Да, уезжай, уезжай, я больше не в силах! Нам надо временно расстаться, выяснить наши отношения. Ты стал так худ, что мама убеждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу!

И отъезд Мити был решен. Но уезжал Митя, к великому своему удивлению, хотя и не помня себя от горя, все-таки почти счастливый. Как только отъезд был решен, неожиданно вернулось все прежнее. Ведь он все-таки страстно не хотел верить ничему тому ужасному, что ни днем, ни ночью не давало ему покоя. И достаточно было малейшей перемены в Кате, чтобы опять все изменилось в его глазах. А Катя опять стала нежна и страстна уже без всякого притворства,— он чувствовал это с безошибочной чуткостью ревнивых натур,— и опять стал он сидеть у нее до двух часов ночи, и опять было о чем говорить, и чем ближе становился отъезд, тем все нелепее казалась раз-

лука, надобность «выяснить отношения». Раз Катя даже заплакала,—а она никогда не плакала,—и эти слезы вдруг сделали ее страшно родною ему, пронзили его чувством острой жалости и как будто какой-то вины перед ней.

Мать Кати в начале июня уезжала на все лето в Крым и увозила и ее с собой. Решили встретиться в Мисхоре. Митя тоже должен был приехать в Мисхор.

И он собирался, делал приготовления к отъезду, ходил по Москве в том странном опьянении, которое бывает, когда человек еще бодро держится на ногах, но уже болен какой-то тяжелой болезнью. Он был болезненно, пьяно несчастен и вместе с тем болезненно счастлив, растроган возвратившейся близостью Кати, ее заботливостью к нему,— она даже ходила с ним покупать дорожные ремни, точно она была его невеста или жена,— и вообще возвратом почти всего того, что напоминало первое время их любви. И так же воспринимал он и все окружающее,— дома, улицы, идущих и едущих по ним, погоду, все время повесеннему хмурившуюся, запах пыли и дождя, церковный запах тополей, распустившихся за заборами в переулках: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится (хотя он и не знал, что именно все).

В день отъезда зашел проститься Протасов. Среди гимназистов старших классов, среди студентов нередко встречаются юноши, усвоившие себе манеру держаться с добродушно-угрюмой насмешливостью, с видом человека, который старше, опытнее всех на свете. Таков был и Протасов, один из ближайших приятелей Мити, единственный настоящий друг его, знавший, несмотря на всю скрытность, молчаливость Мити, все тайны его любви. Он глядел, как Митя завязывал чемодан, видел, как тряслись его руки, потом с грустной мудростью ухмыльнулся и сказал:

— Чистые вы дети, прости господи! А за всем тем, любезный мой Вертер из Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнейшее женское естество и что сам полицеймейстер ничего с этим не поделает. Ты, естество мужское, лезешь на стену, предъявляешь к ней высочайшие требования инстинкта продолжения рода, и, конечно, все сие совершенно законно, даже в некотором смысле священно. Тело твое есть высший разум, как справедливо заметил герр Ницше. Но законно и то, что ты на этом священном пути можешь сломать себе шею. Есть же особи в мире животном, коим даже по штату полагается платить ценой собственного существования за свой

первый и последний любовный акт. Но так как для тебя этот штат, вероятно, не совсем уж обязателен, то смотри в оба, побеpегай себя. Вообще, не спеши. «Юнкер Шмит, честно́е слово, лето возвратится!» Свет не лыком шит, не клином на Кате сошелся. Вижу по твоим усилиям задушить чемодан, что ты с этим совершенно не согласен, что этот клин тебе весьма любезен. Ну, прости за непрошеный совет — и да хранит тебя Николаугодник со всеми присными его!

А когда Протасов, тиснув Мите руку, ушел, Митя, затягивая в ремни подушку и одеяло, услыхал в свое открытое во двор окно, как загремел, пробуя голос, студент, живший напротив, учившийся пению и упражнявшийся с утра до вечера,— запел «Азру». Тогда Митя заспешил с ремнями, застегнул их как попало, схватил картуз и пошел на Кисловку,— проститься с матерью Кати. Мотив и слова песни, которую запел студент, так настойчиво звучали и повторялись в нем, что он не видел ни улиц, ни встречных, шел еще пьянее, чем ходил все последние дни. В самом деле было похоже на то, что свет клином сошелся, что юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться! Ну, что ж, сошелся так сошелся, думал он и опять возвращался к песне о том, как, гуляя по саду и «красой своей сияя», встречала дочь султана в саду черного невольника, который стоял у фонтана «бледнее смерти», как однажды спросила она его, кто он и откуда, и как ответил он ей, начав зловеще, но смиренно, с угрюмой простотой:

Зовусь Магометом я... —

и кончив восторженно-трагическим воплем:

— Я из рода бедных Азров,
Полюбив, мы умираем!

Катя одевалась, чтобы ехать на вокзал провожать его, ласково крикнула ему из своей комнаты,— из комнаты, где он провел столько незабвенных часов! — что она придет к первому звонку. Милая, добрая женщина с малиновыми волосами сидела одна, курила и очень грустно посмотрела на него,— она, вероятно, все давно понимала, обо всем догадывалась. Он, весь алый, внутренне дрожащий, поцеловал ее нежную и дряблую руку, по-сыновьи склонив голову, и она с материнской лаской несколько раз поцеловала его в висок и перекрестила.

— Эх, милый,— с несмелой улыбкой сказала она словами Грибоедова, — живите-ка смеясь! Ну, Христос с вами, поезжайте, поезжайте...

VI

Сделав все то последнее, что нужно было сделать в номерах, уложив свои вещи в кривую извозчичью пролетку при помощи коридорного, он наконец неловко уселся возле них, тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что охватывает при отъезде,— кончен (и навсегда) известный срок жизни! — и вместе с тем внезапную легкость, надежду на начало чего-то нового. Он несколько успокоился и бодрее, как бы новыми глазами стал глядеть вокруг. Конец, прощай Москва и все, что пережито в ней! Накрапывало, хмурилось, в переулках было пусто, булыжник был темен и блестел, как железный, дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью и то и дело заставлял Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проехали Кремль, потом Покровку и опять свернули в переулки, где в садах хрипло орала к дождю и к вечеру ворона, а все же была весна, весенний запах воздуха. Но вот наконец доехали, и Митя бегом кинулся за носильщиком по людному вокзалу, на перрон, потом на третий путь, где уже был готов длинный и тяжелый курский поезд. И из всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поезд, из-за всех носильщиков, с грохотом и предупреждающими покрикиваниями кативших тележки с вещами, он мгновенно выделил, увидал то, что, «красой своей сияя», одиноко стояло вдали и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире. Уже пробил первый звонок,— на этот раз опоздал он, а не Катя. Она трогательно приехала раньше его, она его ждала и кинулась к нему опять с заботливостью жены или невесты:

— Милый, занимай скорее место! Сейчас второй звонок!

А после второго звонка она еще трогательнее стояла на платформе, снизу глядя на него, стоявшего в дверях третьеклассного вагона, уже битком набитого и вонючего. Все в ней было прелестно,— ее милое, хорошенькое личико, ее небольшая фигурка, ее свежесть, молодость, где женственность еще мешалась с детскостью, ее вверх поднятые сияющие глаза, ее голубая скромная шляпка, в изгибах которой была некоторая изящная задорность, и даже ее темно-серый костюм, в котором Митя с обожанием чувствовал даже материю и шелк подкладки. Он стоял худой, нескладный, на дорогу он надел высокие грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснели медью. И все-таки Катя смотрела на него непритворно

любящим и грустным взглядом. Третий звонок так неожиданно и резко ударил по сердцу, что Митя ринулся с площадки вагона как безумный, и так же безумно, с ужасом кинулась к нему навстречу Катя. Он припал к ее перчатке и, вскочив назад, в вагон, сквозь слезы замахал ей картузом с неистовым восторгом, а она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла все быстрее, ветер все сильнее трепал волосы высунувшегося из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей,— и вдруг точно сорвало и ее, и конец платформы...

VII

Давно наступили долгие весенние сумерки, темные от дождевых туч, тяжелый вагон грохотал в голом и прохладном поле,— в полях весна была еще ранняя,— шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя в фонари свечи, а Митя все еще стоял возле дребезжащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки, оставшийся на его губах, все еще весь пылал острым огнем последнего мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете вставала перед ним. В новом свете, опять в новом, стояла теперь перед ним и Катя... Да, да, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тело? Это что такое? Ничего этого нет,— есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки — разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело? И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях — все любовь, все душа, и все мука, и все несказанная радость.

Утром был Орел, пересадка, провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал: какой это простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским, уже отошедшим куда-то в тридесятое царство, центром которого была Катя, теперь такая как будто одинокая, жалкая, любимая только нежно! Даже небо, кое-где подмазанное бледной синевой дождевых облаков, даже ветер тут проще и спокойнее... Поезд из Орла шел не спеша, Митя не спеша ел тульский печатный пряник, сидя в почти пустом вагоне. Потом поезд разошелся и умотал, усыпил его.

Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей и выпил бутылку пива, потом опять задремал,— глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому, перед последней станцией. Опять по-весеннему сумрачно темнело, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотанье поезда отдавалось в нем отчетливее, чем в поле, а вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора, — особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу,— и поезд со стуком стал переходить на другой путь... Боже, как по-деревенски жалок и мил работник, ждущий барчука на платформе!

Сумерки и тучи все сгущались, пока ехали от станции по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, слившейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч, и опять Митя дивился и радовался: как спокойна, проста, убога деревня, эти пахучие курные избы, уже давно спящие,— с Благовещенья добрые люди не вздувают огня,— и как хорошо в этом темном и теплом степном мире! Тарантас нырял по ухабам, по грязи, дубы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто из древности мужик: босые ноги, рваный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах... И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей, и все слилось в одно,— Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки.

VIII

В деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными.

Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось и казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впе-

чатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готового к новому расцвету.

Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни,— жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле, учились, должны были приехать не раньше начала июня. Мама, Ольга Петровна, была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик,— староста, как называли его на дворне,— часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело.

Когда Митя, на другой день по приезде, проспавши двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты,— она была окнами в сад, на восток,— и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло; везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснушчатая девка, поденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на балкон, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеющим, как бы далеким, отражением. Горничная Параша, вытащив большую тряпку из ведра с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала дружественно-развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки:

— Идите кушайте чай, мамаша еще до свету уехали на станцию со старостой, вы небось и не слыхали...

И тотчас же Катя властно напомнила о себе: Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра.

И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее, по мере того как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту, обыкновенную, Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием.

IX

Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде, а главное, жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляя то самое, чего втайне ждало все его существо с детства, с отрочества.

Еще в младенчестве дивно и таинственно шевельнулось в чем нечто невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то, должно быть, тоже весной, в саду, возле кустов сирени,— запомнился острый запах шпанских мух,— он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной,— вероятно, с своей нянькой,— и вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом,— не то лицо ее, не то сарафан на полной груди,— и что-то горячей волной прошло, взыграло в нем, истинно как дитя во чреве матери... Но то было как во сне. Как во сне было и все, что было потом,— в детстве, отрочестве, в гимназические годы. Были какие-то особые, ни на что не похожие восхищения то одной, то другой из тех девочек, которые приезжали со своими матерями на его детские праздники, тайное жадное любопытство к каждому движению этого чарующего, тоже ни на что не похожего маленького существа в платьице, в башмачках, с бантом шелковой ленты на головке. Было (это уже позднее, в губернском городе) длившееся почти всю осень и уже гораздо более сознательное восхищение гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерам на дереве за забором соседнего сада: ее резвость, насмешливость, коричневое платьице, круглый гребешок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик — все было таково, что Митя думал о ней с утра до вечера, грустил, порою даже плакал, неутолимо что-то желая от нее. Потом и это как-то само собой кончилось, забылось, и были новые, более или менее долгие,— и опять-таки сокровенные,— восхищения, были острые радости и горести внезапной влюбленности на гимназических балах... были какие-то томления в теле, в сердце же смутные предчувствия, ожидания чего-то...

Он родился и вырос в деревне, но гимназистом поневоле проводил весну в городе, за исключением одного года, позапрошлого, когда он, приехав в деревню на масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад, его стволы и ветви. Он видел: вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи... вот послеобеденный час на другой

день: солнце за домом, с другой его стороны, а в окне уже до голубизны бледный весенний снег и крупные белые облака в синеве, в вершинах деревьев... а вот, еще через день, в облачном небе такие яркие прогалины, и на коре деревьев такой мокрый блеск, и так каплет с крыши над окном, что не нарадуешься, не наглядишься... После пошли теплые туманы, дожди, снег распустило и съело в несколько суток, тронулась река, стала радостно и ново чернеть, обнажаться и в саду и на дворе земля... И надолго запомнился Мите один день в конце марта, когда он в первый раз поехал верхом в поле. Небо не ярко, но так живо, так молодо светилось в бледных, в бесцветных деревьях сада. В поле еще свежо дуло, жнивья были дики и рыжи, а там, где пахали,— уже пахали под овес,— маслянисто, с первобытной мощью чернели взметы. И он целиком ехал по этим жнивьям и взметам к лесу и издалека видел его в чистом воздухе,— голый, маленький, видный из конца в конец,— потом спустился в его лощины и зашумел копытами лошади по глубокой прошлогодней листве, местами совсем сухой, пáлевой, местами мокрой, коричневой, переехал засыпанные ею овраги, где еще шла полая вода, а из-под кустов с треском вырывались прямо из-под ног лошади смугло-золотые вальдшнепы... Чем была для него вся эта весна и особенно этот день, когда так свежо дуло навстречу ему в поле, а лошадь, одолевавшая насыщенные влагой жнивья и черные пашни, так шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутром с великолепной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности в кого-то и во что-то, когда он любил всех гимназисток и всех девок в мире. Но каким далеким казалось ему это время теперь! Насколько был он тогда еще совсем мальчик, невинный, простосердечный, бедный своими скромными печалями, радостями и мечтаниями! Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь. Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая.

X

Только раз в это первое время напомнила о себе Катя зловеще.

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие

звезды. И вдруг где-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно,— то, что так неожиданно и страшно огласило сад? Сыч, лесной пугач, совершающий свою любовь, и больше ничего, думал он, а весь замирал как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллеи, затрещало, зашумело — и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать с мучительным наслаждением, стал взвизгивать, закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился в темноту и глазами и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истомным воплем, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождав возобновления этого любовного ужаса еще несколько минут, Митя тихо вернулся домой — и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительными мыслями и чувствами, в которые превратилась в марте в Москве его любовь.

Однако утром, при солнце, его ночные терзания быстро рассеялись. Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы, вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня, и как трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду, как провожала она его на вокзале... Он вынул ее фотографическую карточку, долго, долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого (чуть круглого) взгляда... Потом написал ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.

Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную

крышку гроба, обитую золотой парчой,— и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду... Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц — и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки,— все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, ее вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался — или мнился — в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах...

Такое же наваждение,— только совсем другого порядка,— испытывал Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив,— дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ не существующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали, и с каждым днем все живее и живее чувствовалась во всем, на что бы ни взглянул Митя.

XI

Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в палисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой: еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так, как орут они только ранней весной, орали грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду, и еще дик, сер был вид деревни на косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью... Он шел в сад: и сад был еще низок и гол, прозрачен,—

только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, да опушился акатник вдоль аллей и бледно белел, мелко цвел один вишенник в лощине, в южной, нижней части сада... Он выходил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фиолетовы были высохшие полевые дороги... И все это была нагота молодости, поры ожидания — и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки-поденщицы, делающие то то, то другое в усадьбе, работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старостой (рослым, грубым отставным солдатом) в поле на беговых дрожках...

Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, зацветали и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глянцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив,— участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом.

XII

И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу — уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей,— и ярко и жутко блеснул ему в глаза неболь-

шой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять,— так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» — читал и перечитывал он — и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо, вокруг сиял сад своей снежной белизной, соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов — и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам...

Домой он шел медленно — чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма.

XIII

Сад разнообразно одевался.

Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее,— оделся свежей, густой зеленью.

Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон: вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядою.

А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, благоуханного сливочного цвета.

И все это: огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома,— кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник,— все поражало своей густотой, свежестью и новизной.

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее, дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей — по целым дням были открыты и двери и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и

увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями.

Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку... Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла,— он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном,— о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, к Кате. И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и мучил себя, читая и перечитывая:

Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад!
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят...

Все эти чарующие слова, все эти призывы были как бы его собственными, обращены были теперь как будто только к одной, к той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, и звучали порою почти грозно:

Над зеркальными водами
Машут лебеди крылами —
И колышется река:
О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...

Он, закрывая глаза, холодея, по несколько раз кряду повторял этот призыв, зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом,— и горько качал головой.

Нет, она не отзывалась, она безмолвно сияла где-то там, в чужом и далеком московском мире! — И опять отливала от сердца нежность — опять росло, ширилось это грозное, зловещее, заклинающее:

О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...

XIV

Однажды, подремав после обеда,— обедали в полдень,— Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки, окапывали яблони, работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними,— это уже входило в привычку.

День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши и яблони цвели и осыпались, разрытая земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый, нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух и эти тленные запахи делались еще нежнее и слаще. И все душистое тепло этого весеннего рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей, зарывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая, по-дневному, то там, то здесь цокал то один, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налево, в углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернул со средины аллеи на них, — нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только завидела его, дико захохотала и закричала.

— Ой, хозяин идет! — закричала она с притворным испугом и, соскочив с толстого сука груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате.

Другая девка, Глашка, сделала, напротив, вид, что совсем не замечает Митю, и, не спеша, крепко ставя на железную ло-

пату ногу в мягкой чуне из черного войлока, за которую набились белые лепестки, энергично врезая лопату в землю и переворачивая отрезанный ломоть, громко запела сильным и приятным голосом: «Уж ты сад, ты мой сад, для кого ж ты цветешь!» Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошел и сел на место Соньки, на старый грушевый сук, лежавший на рассохе. Сонька ярко глянула на него и громко, с деланной развязностью и веселостью спросила:

— Ай только встали? Смотрите, дела не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела, держала себя при нем неловко, говорила что попало, всегда, однако, намекая на что-то, смутно угадывая, что рассеянность, с которой Митя постоянно и приходил и уходил, не простая. Она подозревала, что Митя живет с Парашей или, по крайней мере, домогается этого, она ревновала и говорила с ним то нежно, то резко, глядела то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Мите странное удовольствие. Письма не было и не было, он теперь не жил, а только изо дня на день существовал в непрестанном ожидании, все более томясь этим ожиданием и невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки, поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему приятны: ведь все-таки эти разговоры как бы касались того сокровенного, чем томилась его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена в него, а значит, отчасти близка ему, что делало ее как бы тайной соучастницей любовной жизни его души, даже давало порой странную надежду, что в Соньке можно найти не то наперсницу своих чувств, не то некоторую замену Кати.

Теперь Сонька, сама того не подозревая, опять коснулась его тайны: «Смотрите, дела не проспите!» Он посмотрел вокруг. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая перед ним, казалась от яркости дня почти черной, и небо сквозило в ее острых верхушках особенно великолепной синевой. Молодая зелень лип, кленов, вязов, насквозь светлая от солнца, всюду проникавшего ее, составляла по всему саду легкий радостный навес, сыпала пестроту тени и ярких пятен на траву, на дорожки, на поляны; жаркий и душистый цвет, белевший под этим навесом, казался фарфоровым, сиял, светился там, где солнце тоже проникало его. Митя, против воли улыбаясь, спросил Соньку:

— Какое же дело я могу проспать? То-то и горе, что у меня и дел-то никаких нету.

— Молчите уж, не божитесь, и так поверю! — крикнула Сонька в ответ весело и грубо, опять своим недоверием к отсутствию у Мити любовных дел доставляя ему удовольствие, и вдруг опять заорала, отмахиваясь от рыжего, с белой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышел из ельника, подошел к ней сзади и стал жевать оборку ее ситцевого платья:

— Ах, оморок тебя возьми! Вот еще сыночка бог послал!

— Правда, говорят, за тебя сватаются? — сказал Митя, не зная, что сказать, а желая продолжить разговор.— Говорят, двор богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься...

— Богат, да дурковат, а в голове рано смеркается,—бойко ответила Сонька, несколько польщенная.— У меня, может, об другом об ком думки идут...

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

— Уж и несешь ты, девка, и с Дону и с моря! — негромко сказала она.— Ты тут брешешь что попало, а по селу слава пойдет...

— Молчи, не кудахтай! — крикнула Сонька.— Авось я не ворона, есть оборона!

— А о ком же это о другом у тебя думки идут? — спросил Митя.

— Так и призналась! — сказала Сонька.— Вон в вашего деда-пастуха влюбилась. Увижу, так до пят горячо! Я, не хуже вашего, все на старых лошадях езжу,— сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилетнюю Парашу, которая на деревне считалась уже старой девкой. И, внезапно бросив лопату, со смелостью, на которую она как будто имела некоторое право вследствие своей тайной влюбленности в барчука, села на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги в старых грубых полсапожках и в шерстяных пегих чулках и беспомощно уронила руки.

— Ох, ничего не делала, а уморилась! — крикнула она, смеясь.— Сапоги мои худые,— пронзительно запела она,—

Сапоги мои худые,
Носки лаковые,—

и опять закричала, смеясь:

— Пойдемте со мной в салаш отдыхать, я на все согласная!

Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и положил ей голову на колени. Сонька скинула ее — он опять положил, опять думая стихами, которых он начитался за последние дни:

Вижу, роза,— счастья сила
Яркий свиток свой раскрыла
И увлажила росой —
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной...

— Не трожьте меня!— закричала Сонька уже с искренним испугом, стараясь поднять и отбросить его голову.— А то так закричу, все волки в лесу завоют! У меня ничего для вас нету, горело, да потухло!

Митя закрыл глаза и молчал. Солнце, дробясь через листву, ветви и грушевый цвет, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы,— «чисто у лошади!» — крикнула она и прикрыла ему картузом глаза. Под затылком он чувствовал ее ноги,— самое страшное в мире, женские ноги! — касался им ее живота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки, и все это мешалось с цветущим садом и с Катей; томное цоканье соловьев вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, медвяный теплый воздух и даже простое ощущение земли под спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья. И вдруг в ельнике что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потом гулко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» — и так жутко, так выпукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание острого язычка, а желание Кати и желание, требование, чтобы она во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье, охватило так неистово, что Митя, к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь.

Вместе с этим неистовым желанием, требованием счастья, под этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной явственностью над самой его головой в ельнике и как будто до дна разверзший лоно всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится и что он погиб, пропал!

XV

В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. «Она права,— подумал он, — глаза у меня если и не византийские, то, во всяком случае, сумасшедшие. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька?»

Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся:

— Верно, влюбились, все в зеркало смотритесь,— с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в руках на балкон.

— Вас мама искали,— прибавила она, с размаху ставя самовар на убранный к чаю стол и, обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

«Все знают, все догадываются!»— подумал Митя и через силу спросил:

— А где она?

— У себя в комнате.

Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты бересклета под ними блестели тоже совсем по-летнему, стеклянно. Стол, покрытый легкой тенью и кое-где жаркими пятнами света, сиял скатертью. Осы вились над корзиночкой с белым хлебом, над граненой вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, беззаботным. Чтобы предупредить выход мамы, которая, конечно, не менее других понимает его положение, и чтобы показать, что у него вовсе нет никаких тяжких тайн на душе, Митя пошел из зала в коридор, в который выходили двери его комнаты, маминой и двух других, где летом жили Аня и Костя. В коридоре было сумрачно, в комнате Ольги Петровны синевато. Вся комната была тесно и уютно загромождена наиболее старинной мебелью, имевшейся в доме: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, перед которой, как обыкновенно, горела лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религиозности. За открытыми окнами, на запущенном цветнике перед входом в главную аллею, лежала широкая тень, за тенью празднично зеленел и белел в упор освещенный сад. Не глядя на весь этот давно привычный вид, опустив глаза в очках на вязанье, Ольга Петровна, круп-

ная и сухощавая, черная и серьезная сорокалетняя женщина, сидела у окна в кресле и быстро ковыряла крючком.

— Ты спрашивала меня, мама? — сказал Митя, входя и останавливаясь у порога.

— Да нет, я просто хотела тебя видеть. Я ведь теперь почти никогда, кроме обеда, не вижу тебя,— ответила Ольга Петровна, не прерывая работы и как-то особенно, не в меру спокойно.

Митя вспомнил, как девятого марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнил тайное очаровательное замечание, которое, несомненно, было в ее словах... Он неловко пробормотал:

— Но ты, может, хотела что-нибудь сказать мне?

— Ничего, кроме того, что мне кажется, что ты что-то заскучал последние дни,— сказала Ольга Петровна.— Может, проехался бы куда-нибудь... к Мещерским, например... Полон дом невест,— прибавила она, улыбаясь,— и вообще, по-моему, очень милая и радушная семья.

— Как-нибудь на днях с удовольствием съезжу,— с трудом ответил Митя.— Но пойдем чай пить, там так хорошо на балконе... Там и поговорим,— сказал он, отлично зная, что мама, по своему проницательному уму и по своей сдержанности, не будет больше возвращаться к этому бесполезному разговору.

На балконе они просидели почти до заката. Мама после чая продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и Косте,— у Ани опять передержка в августе! Митя слушал, порою отвечал, но все время испытывал нечто подобное тому, что он испытывал перед отъездом из Москвы,— что опять он как будто пьян от какой-то тяжкой болезни.

А вечером он часа два безостановочно шагал по дому взад и вперед, насквозь проходя зал, гостиную, диванную и библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад. В окна зала и гостиной мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат, слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В пролет комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной розовой звездой над ней; на этой синеве картинно рисовалась зеленая вершина клена и белизна, как бы зимняя, всего того, что цвело в саду. А он шагал и шагал, уже совсем не заботясь о том, как будет это истолковано в доме. Зубы его были стиснуты до боли в голове.

XVI

С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами, что совершало вокруг него наступающее лето. Он видел и даже чувствовал их, эти перемены, но они потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно: чем было лучше, тем мучительнее было ему. Катя стала уже истинным наваждением; Катя была теперь во всем и за всем уже до нелепости, а так как всякий новый день все страшнее подтверждал, что она для него, для Мити, уже не существует, что она уже в чьей-то чужой власти, отдает кому-то другому себя и свою любовь, всецело долженствующую принадлежать ему, Мите, то и все в мире стало казаться ненужным, мучительным и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно.

По ночам он почти не спал. Прелесть этих лунных ночей была несравненна. Тихо-тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от неги, пели ночные соловьи, состязаясь друг с другом в сладости и тонкости песен, в их чистоте, тщательности, звучности. И тихая, нежная, совсем бледная луна низко стояла над садом, и неизменно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватых облаков. Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. И всякий раз как он открывал глаза и взглядывал на луну, он тотчас же мысленно произносил, как одержимый: «Катя!» — и с таким восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико: чем, в самом деле, могла напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же, напомнила чем-то и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным! А порою он просто ничего не видел: желание Кати, воспоминания о том, что было между ними в Москве, охватывали его с такой силой, что он весь дрожал лихорадочной дрожью и молил бога — и, увы, всегда напрасно! — увидеть ее вместе с собой, вот на этой постели, хоть во сне. Однажды зимой он был с ней в Большом театре на «Фаусте» с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна, зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющиеся далеко внизу под маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные: «Жил, был в Фуле добрый король...» Проводив

после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу. Теперь, в эти мучительные майские ночи, он дошел до того, что не мог думать без содрогания даже об этой ленте, лежавшей в его письменном столе.

А днем он спал, потом уезжал верхом в то село, где была железнодорожная станция и почта. Дни продолжали стоять погожие. Перепадали дожди, пробегали грозы и ливни, и опять сияло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спешную работу в садах, полях и лесах. Сад отцветал, осыпался, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули уже в несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их немолчно звала в свои зеленые недра соловьями и кукушками. Уже исчезла нагота полей — их сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлебов. И Митя по целым дням пропадал в этих лесах и полях.

Слишком стыдно стало ему торчать каждое утро на балконе или среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работников ездить за восемь верст за пустяками. И вот он стал ездить на почту сам. Но и сам он неизменно возвращался домой с одним номером орловской газеты или письмом Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную.

Раз, перед вечером, он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружавшим его березовым лесом. Он ехал по табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно-мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом,— только одни соловьи гремели из конца в конец парка,— так сладко пахло и елями и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом, и такое великое — чье-то чужое, давнее — счастье почувствовалось Мите во всем этом и так страшно явственно вдруг представилась ему на огромном ветхом балконе, среди

кустов жасмина, Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух, на всю аллею:

— Если через неделю письма не будет,— застрелюсь!

XVII

На другой день он встал очень поздно. После обеда он сидел на балконе, держал на коленях книгу, глядел на страницы, покрытые печатью, и тупо думал: «Ехать или нет на почту?»

Было жарко, белые бабочки парами вились друг за другом над горячей травой, над стеклянно блестевшим бересклетом. Он следил за бабочками и опять спрашивал себя: «Ехать или разом оборвать эти постыдные поездки?»

Из-под горы, в воротах, показался верхом на жеребце староста. Староста посмотрел на балкон и поехал прямо на него. Подъехав, он остановил лошадь и сказал:

— Доброго утра! Все читаете?

И усмехнулся, оглянулся кругом.

— Мамаша спят? — спросил он негромко.

— Думаю, что спит,— ответил Митя.— А что?

Староста помолчал и вдруг серьезно сказал:

— Что ж, барчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы монахом-то живете? Ай мало баб, девок?

Митя не отозвался и опустил глаза на книгу.

— Ты где был? — спросил он, не глядя.

— Был на почте,— сказал староста.— И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.

— Почему же «конечно»?

— Потому, что, значит, еще пишут, не дописали,— ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора.— Пожалуйте получить,— сказал он, протягивая Мите газетку, и, тронув лошадь, поехал прочь.

«Застрелюсь!» — подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя.

XVIII

Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые

весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там — Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно-белое, душное шоссе, сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы — и опять Катя, в белом платье, под белым зонтиком, сидящая на гальке у самых волн, слепящих своим блеском, вызывающих невольную улыбку беспричинного счастья...

Он это понимал, но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше? Именно это-то и было непосильно — то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного.

Вот он просыпался утром, и первое, что ударяло ему в глаза, было радостное солнце, первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви — там, за росистым, полным тени и блеска, птиц и цветов садом; радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах, все те же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же, восторгом и ужасом, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа, дедовские обои требовали, чтобы она разделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме, его отцы и деды. И Митя отбрасывал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке, с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теплый со сна, быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку и впадал в столбняк, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре! Но загадочно и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор —и где было взять сил перенести его, такой близкий и такой далекий, а теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить и так бесстыдно и страшно обманувший?

В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, он очень

точно выразил своим неожиданным даже для самого себя восклицанием то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услыхал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девке небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то Катино. В поле он встретил чью-то тройку,— в тарантасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул: «Катя!» Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки — с цветом ее вуали... А когда он, при заходящем солнце, въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечереющей тени, он вдруг увидел Катю, сходившую, во всем расцвете женской прелести, с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и жасмин. Уже давно утерял он жизненное представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее,— в этот же вечер ее преображение достигло такой силы, такой торжествующей победности, что Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка.

XIX

И он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано: и неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унизительные мольбы о ее любви или хотя бы о «дружбе», и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели,— с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание,— и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своих «более счастливых соперников» от своего присутствия на земле. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего (а все-таки втайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо

прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия), всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать что под руку попадется, ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без усталости твердить себе: «Все равно, пусть будет что будет!»

И вот однажды возвращались они со старостой с хутора, ехали на бегунках и, как всегда, шибко. Оба сидели верхом, староста впереди,— он правил,— а Митя сзади, и оба подскакивали от толчков, особенно Митя, который крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то на прыгающие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожжи, поехал шагом, стал вертеть цигарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал:

— Вот вы тогда, барчук, обиделись на меня, а понапрасну. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянках, да ведь она не уйдет, на все время надо знать.

Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и неловкой усмешкой:

— Да никого что-то нету на примете...

— Как так? — сказал староста.— Сколько баб, девок!

— Девки только манят,— ответил Митя, стараясь говорить в тон старосте.— На девок надежда плохая.

— Не манят, а обращенья вы не знаете,— сказал староста уже наставительно. — И опять же скупитесь. А сухая ложка рот дерет.

— Ничего бы я не стал скупиться, будь дело путное и верное,— ответил вдруг Митя бесстыдно.

— А не станете, все и будет в лучшем виде,— сказал староста, закуривая, и продолжал как бы несколько обиженно: — Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствие вам сделать. Гляну, гляну: скучает барчук! Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ завсегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу, а ни от вас, ни от барыни, слава богу, плохого слова не слыхал. Другим, к примеру, что барская скотина? Сыта — хорошо, нет — черт с ней. А у меня того нет. Мне скотина дороже всего. Я и ребятам говорю: мне как хочете, а чтобы у меня скотина сыта была!

Митя уже стал думать, что староста выпивши, но староста вдруг бросил обиженно-задушевный тон и сказал, вопросительно взглянув на Митю через плечо:

— Да вот чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая, молодень-

кая, муж на шахтах... Только и ей, конечно, надо какой-нибудь пустяк сунуть. Ну, истратите, скажем, на все про все пятерку. Целковый, скажем, ей на угощенье, два — на руки. Ну, мне на табачишко сколько-нибудь...

— За этим дело не станет,— ответил Митя, опять против воли.— Только про какую Аленку ты говоришь?

— Понятно, про лесникову,— сказал староста.— Да ай вы ее не знаете? Невестка нового лесника. Вы ее, думается, в прошлое воскресенье в церкви видели... Я тогда прямо же подумал: вот бы нашему барчуку в самый раз! Всего второй год замужем, ходит чисто...

— Ну и что же,— ответил Митя, усмехаясь,— ну вот и устрой.

— Тогда я, значит, буду стараться,— сказал староста, берясь за вожжи.— Я, значит, на днях попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у нас с девками вал в саду оправлять будет, вот вы и приходите в сад... А книжка эта никогда не уйдет, авось еще в Москве начитаетесь...

И тронул лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали. Митя крепко держался за подушку и, стараясь не глядеть на красную толстую шею старосты, смотрел вдаль, через деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скате к реке, к речным лугам. Что-то дико неожиданное, нелепое и вместе с тем такое, отчего по всему телу проходило знобящее томление, было уже наполовину сделано. И уже как-то по-иному, чем прежде, торчала перед ним из-за вершин сада и блестела крестом в предвечернем солнце с детства знакомая колокольня.

XX

Девки за худобу звали Митю борзым, он был из той породы людей с черными, как бы постоянно расширенными глазами, у которых почти не растут даже в зрелые годы ни усы, ни борода,— курчавится только нечто редкое и жесткое. Однако на другой день после разговора со старостой он с утра побрился и надел желтую шелковую рубашку, странно и красиво осветившую его изможденное и как бы вдохновенное лицо.

В одиннадцатом часу он медленно, стараясь придать себе немного скучающий, от нечего делать гуляющий вид, пошел в сад.

Вышел он с главного крыльца, обращенного на север. На севере, над крышами каретного сарая и скотного двора и над той

частью сада, из-за которой всегда глядела колокольня, стояла аспидная муть. Да и все было тускло, в воздухе парило и пахло из трубы людской. Митя повернул за дом и направился к липовой аллее, глядя на вершины сада и на небо. Из-под неопределенных туч, заходящих за садом, с юго-востока, дуло слабым горячим ветром. Птицы не пели, даже соловьи молчали. Одни пчелы во множестве беззвучно неслись через сад со взятки.

Девки, поправляя вал, работали опять возле ельника, заделывали в валу протоптанные скотиной лазы, заваливали их землей и парным, приятно-вонючим навозом, который работники от времени до времени подвозили со скотного двора через аллею,— аллея вся была усеяна влажными и блестящими шмотами. Девок было штук шесть. Соньки уже не было,— ее таки просватали, и теперь она сидела дома, кое-что готовя к свадьбе. Было несколько совсем еще жиденьких девчонок, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая как будто еще суровее и мужественнее,— и Аленка. И Митя сразу увидел ее среди деревьев, сразу понял, что это она, хотя прежде никогда не видал ее, и его, как молния, поразило нежданно и резко ударившее ему в глаза что-то общее, что было,— или только почудилось ему,— в Аленке с Катей. Это было так удивительно, что он даже приостановился, на миг оторопел. Потом решительно пошел прямо на нее, не спуская с нее глаз.

Она была тоже невелика, подвижна. Несмотря на то, что она пришла на грязную работу, она была в хорошенькой (белой с красными крапинками) ситцевой кофте, подпоясанной черным лакированным поясом, в такой же юбке, в розовом платочке, в красных шерстяных чулках и в черных мягких чунях, в которых (или, вернее, во всей ее маленькой легкой ноге) было опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешанное с чем-то детским. И головка у нее была невелика и темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати. Когда Митя подходил, она одна не работала, как бы чувствуя свою некую особенность среди прочих, стояла на валу, поставив правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежал под яблоней на своем пиджаке с рваной подкладкой и курил. Митя подошел — он вежливо подвинулся на траву, давая ему место на пиджаке.

— Садитесь, Митрий Палыч, закуряйте,— сказал он дружески и небрежно.

Митя бегло, исподтишка глянул на Аленку,— очень хорошо освещал ее лицо ее розовой платочек,— сел и, опустив

глаза, стал закуривать (он много раз за зиму и весну бросал курить, теперь опять закурил). Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так, точно ни ум, ни сердце ее не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то вел себя глупо, чересчур нахрапом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены.

— Ну, да тебя не перебрешешь,— сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы ввиду его надоевшей бесполезности.— Ты лучше иди посиди с нами. Барин тебе хочут слово сказать.

Аленка повела глазом куда-то в сторону, подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места.

— Иди, говорю, дура! — сказал староста.

И, подумав мгновенье, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пиджаке Мити, весело и любопытно смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила:

— А правда вы, барчук, с бабами не живете? Как дьячок какой?

— А ты почем знаешь, что не живут? — спросил староста.

— Да уж знаю,— сказала Аленка.— Слышала. Нет, они не можут. У них в Москве есть,— вдруг заиграв глазами, сказала она.

— Подходящих для них нету, вот и не живут,— ответил староста. — Много ты понимаешь в их деле!

— Как нету? — сказала Аленка, смеясь.— Сколько баб, девок! Вон Анютка,— чего лучше? Анютк, поди сюда, дело есть! — крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая в спине, короткорукая, обернулась,— лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная,— что-то крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пуще.

— Говорят тебе, поди! — еще звончей повторила Аленка.

— Нечего мне ходить, не заучена я этим делам,— пропела Анютка радостно.

— Нам Анютка не нужна, нам надо почище, поблагороднее,— наставительно сказал староста.— Мы сами знаем, кого нам надо.

И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела.

— Нет, нет, нет,— ответила она, скрывая смущение улыбкой,— лучше Анютки не найдете. А не хочете Анютку,— Настьку, она тоже чисто ходит, в городе жила...

— Ну будет, молчи,— неожиданно грубо сказал староста.— Занимайся своим делом, побрехала, и будет. Меня и так барыня ругают, говорят, они у тебя только охальничают...

Аленка вскочила — и опять с необыкновенной легкостью — взялась за вилы. Но работник, сваливший в это время последнюю телегу навоза, крикнул: «Завтракать!» — и, задергав вожжами, бойко загремел вниз по аллее пустым тележным ящиком.

— Завтракать, завтракать! — на разные голоса закричали и девки, бросая лопаты и вилы, перескакивая через вал, соскакивая с него, мелькая голыми ногами и разноцветными чулками и сбегаясь под ельник к своим узелкам.

Староста покосился на Митю, подмигнул ему, желая сказать, что дело идет, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

— Ну, завтракать так завтракать...

Девки, пестрея под темной стеной елок, весело и как попало расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног, стали жевать, запивая из бутылок кто молоком, кто квасом и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь к Анютке, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной улыбки, с силой оттолкнула ее (Аленка, давясь смехом, повалилась головой к себе на колени) и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим певучим голосом:

— Дура! Чего гогочешь без дела? Какая радость?

— Пойдемте от греха, Митрий Палыч,— сказал староста,— ишь их черти разбирают!

XXI

На другой день в саду не работали, был праздник, воскресенье.

Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако,

погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудил веселый, солнечный трезвон колоколов.

Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедне. «Мама уж ушли,— ласково упрекнула его Параша,— а вы как татарин какой...»

В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном, налево. Митя пошел через сад.

Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, сухо блестевшее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов, как-то очень хорошо и мирно сливавшийся с ним и со всем этим деревенским утром, и то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцевитые черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнородных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестело, дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы в ее светло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на припеке, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, как бывало много, много раз в детстве, в отрочестве, и так живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати.

«В самом деле, поеду к Мещерским»,— подумал вдруг Митя.

Но тут он поднял глаза — и в двадцати шагах от себя увидал как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за деревья.

Дав ей скрыться, он, с бьющимся сердцем, поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо.

XXII

Во время обеда нарочный со станции привез телеграмму — Аня и Костя извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно.

После обеда он навзничь лежал на плетеном диване на балконе, закрыв глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжанье мух. Сердце дрожало, в голове стоял неразрешимый вопрос: а как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо: согласна ли она, и, если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое: следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту? Не съездить ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка (в сущности, простая прогулка) к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кончено? Что́ ему вообще теперь делать?

— Барчук! — раздался вдруг негромкий голос возле балкона.— Барчук, вы спите?

Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой ситцевой рубахе, в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмельное.

— Барчук, едемте скорей в лес,— зашептал он.— Я барыне сказал, что мне нужно повидаться с Трифоном насчет пчел. Едемте скорей, пока они почивают, а то ну-ка проснутся и отдумают... Захватим чего-нибудь угостить Трифона, он захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выходите скорей, я уж запряг...

Митя вскочил, пробежал лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к каретному сараю, где стоял запряженный в беговые дрожки молодой горячий жеребчик.

XXIII

Жеребчик прямо с места вихрем вынес за ворота. Против церкви на минуту остановились возле лавки, взяли фунт сала и бутылку водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выезде, у которой стояла наряженная и не знавшая, что делать, Анютка. Староста в шутку, но грубо крикнул ей что-то и с хмельным, бессмысленным и злым удаль-

ством крепко передернул вожжами, хлестнул ими по крупу жеребчика. Жеребчик еще наддал.

Митя, сидя и подскакивая, держался изо всех сил. В затылок ему приятно пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром, пахнувшим уже зацветающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес...

Через четверть часа были уже в лесу и все так же шибко, стукаясь о пни и корни, помчались по его тенистой дороге, радостной от солнечных пятен и несметных цветов в густой и высокой траве по сторонам. Аленка, в своем голубом платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей кнутом, и сразу осадил у порога. Митю поразил горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.

Слезли, привязали жеребчика к сухому, опаленному грозой деревцу под окнами и вошли через темные сени.

В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена печь,— утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сели и стали закуривать.

— А где ж Трифон? — спросил староста.

— Отдыхает в клети,— сказала Федосья,— я сейчас пойду его покличу.

— Идет дело! — шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она вышла.

Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо неловко,— казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять мелькала ужасавшая уже третий день мысль: «Что я делаю? Я с ума схожу!» Он чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и быстрее идущим к какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Осо-

бенно стыдно было при мысли,что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят, злой, умный, который сразу все поймет еще лучше Федосьи. Но вместе с тем была и другая мысль: «А где же она спит? Вот на этих нарах или в клети?» Конечно, в клети, подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клети без рамы, без стекол, и всю ночь слышен дремотный лесной шепот, а она спит...

XXIV

Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его прислала барыня, что она просит Трифона прийти посмотреть пасеку, что ихний пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей губернии по своему уму и понятию,— и немедля вытащил из одного кармана штанов бутылку водки, а из другого сало в шершавой серой бумаге, уже насквозь промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом Федосье,— она с удовольствием вытянула чашку до донышка,— и, наконец, налил себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.

Трифон довольно быстро захмелел, однако не потерял своей сухости и неприязненной насмешливости. Староста тяжко отупел после второй же чашки. Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта— рассчитывать теперь на то, что старосте удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла,— Митя поднялся и строго сказал, что пора ехать.

— Сейчас, сейчас, успеется! — хмуро и нагло отозвался староста.— Мне еще надо вам словечко по секрету сказать.

— Ну вот дорогой и скажешь,— сказал сдержанно, но еще строже Митя.— Едем.

Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:

— А я вам говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдьте ко мне на минутку...

И, тяжко поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы. Митя вышел за ним.

— Ну, в чем дело?

— Молчите!— таинственно прошептал староста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.

— Об чем молчать?

— Молчите!

— Я тебя не понимаю.

— Молчите! Наша будет! Верное слово!

Митя оттолкнул его, вышел из сенец и остановился на пороге, не зная, что делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?

В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червонное золото. И вдруг гулко раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно, как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.

— Ау! — протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными откликами.— Ау!

Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес опускался в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики Аленка. Митя надбежал над обрыв и остановился. Она снизу глядела на него удивленными глазами.

— Что ты тут делаешь? — спросил Митя негромко.

— Маруську нашу с коровой ищу. А что? — ответила она тоже негромко.

— Что ж, придешь, что ли?

— Что ж мне даром ходить? — сказала она.

— Кто ж тебе сказал, что даром? — спросил Митя уже почти шепотом.— Об этом не беспокойся.

— А когда?— спросила Аленка.

— Да завтра... Ты когда можешь?

Аленка подумала.

— Я завтра пойду к матери овцу стричь,— сказала она, помолчав, осторожно оглядывая лес на бугре за Митей.— Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдет кто-нибудь... Хочете, в салаш в лощине у вас в саду? Только вы смотрите, не обманите,— даром я не согласна... Это вам не Москва,— сказала она, засмеявшимися глазами глядя на него снизу,— там, говорят, бабы сами плотят...

XXV

Возвращались безобразно.

Трифон не остался в долгу, поставил и с своей стороны бутылку, и староста так напился, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный жеребчик рванулся и чуть не ускакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту бесчувственно, ждал, пока он усядется, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над полями к закату допевали свои кроткие песни жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те дальние, мирные зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсем чужой ему. В мыслях, в душе стояло одно: завтра вечером!

Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будут завтра, с вечерним поездом. Он ужаснулся,— приедут, побегут вечером в сад, могут побежать к шалашу, в лощину... Но тотчас же вспомнил, что со станции их привезут не раньше десятого часа, потом будут кормить, поить чаем...

— Ты поедешь встречать? — спросила Ольга Петровна.

Он почувствовал, что бледнеет.

— Нет, не думаю... Мне что-то не хочется... Да и сесть негде...

— Ну, положим, ты бы мог верхом поехать...

— Да нет, не знаю... Собственно, зачем? Сейчас, по крайней мере, не хочется...

Ольга Петровна пристально посмотрела на него.

— Ты здоров?

— Совершенно,— сказал Митя почти грубо.— Я только спать очень хочу...

И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь.

Ночью он услыхал отдаленную, медлительную музыку и увидал себя висящим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилась все бездоннее, все золотистей, все ярче, все многолюднее, и уже совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело в ней: «Жил, был в Фуле добрый король...» Он затрепетал от умиления, повернулся на другой бок и опять заснул.

XXVI

День казался бесконечным.

Митя как деревянный выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и опять ложился, брал с письменного стола уже давно валявшийся на нем том Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал ровный, летний, атласный шум солнечного сада за окном... Раз он встал и пошел в библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своим спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое западное небо комната так остро напомнила ему те весенние (теперь уж бесконечно далекие) дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась такой Катиной, что он повернулся и быстро пошел назад. «К черту! — подумал он с раздражением.— К черту весь этот поэтический трагизм любви!»

Он с возмущением вспомнил свое намерение застрелиться, если не будет письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но по-прежнему он ничего не понимал, читая, а порою, глядя в книгу и думая об Аленке, весь начинал дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе,— уже запрягали тарантас на станцию,— все раздавалось так, как во время болезни, когда лежишь один, а вокруг течет обычная, будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому чуждая, даже враждебная. Наконец где-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!» — послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох подкатывающего к крыльцу тарантаса... «Ах, да когда же все это кончится!» —пробормотал Митя вне себя от нетерпения, не двигаясь, но жадно слушая голос Ольги Петровны, отдававшей в лакейской последние приказания. Вдруг бубенчики забормотали и, бормоча все слитнее под звуки покатившегося под гору экипажа, стали глохнуть...

Быстро встав с места, Митя вышел в зал. В зале было пусто и светло от ясного желтоватого заката. Во всем доме было пусто и как-то странно, страшно пусто! Со странным, как бы прощальным чувством Митя взглянул в пролет растворенных молчаливых комнат — в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и розовой точкой стоял над ней Антарес... Потом заглянул в лакейскую, нет ли там Параши. Убедившись, что и там пусто, он схватил с вешалки картуз,

пробежал назад, в свою комнату, и выскочил в окно, далеко выкинув на цветник свои длинные ноги. На цветнике он на мгновение замер, потом, согнувшись, перебежал в сад и тотчас же вильнул в глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акации и сирени.

XXVII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечернего сада. Но Мите, при всей бессознательности всех его действий в этот вечер, все же показалось, что он еще никогда в жизни,— за исключением, может быть, раннего детства,— не встречал такой силы и такого разнообразия запахов, как теперь. Все пахло — кусты акации, листья сирени, листья смородины, лопухи, чернобыльник, цветы, трава, земля...

Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: «А вдруг она обманет, не придет?» — теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка,— уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок только что народившегося месяца. Митя глянул на него, быстро и мелко перекрестился под ложечкой и шагнул в кусты акации. Аллея вела в лощину, но не к шалашу,— к нему надо было идти наискось, взять левее. И Митя, шагнув через кусты, побежал целиком, среди широко и низко распростертых ветвей, то нагибаясь, то отстраняя их от себя. Через минуту он уже был на условленном месте.

Он со страхом сунулся в шалаш, в его темноту, пахнущую сухой прелой соломой, зорко оглянул его и почти с радостью убедился, что там еще никого нет. Но роковой миг близился, и он стал возле шалаша, весь превратясь в чуткость, в напряженнейшее внимание. Весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно — как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно. А кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно — это биение. Беззвучно, неустанно ви-

лись, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло — и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул меж деревьев по направлению к валу — и увидал, что под сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение — и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила с головы подол короткой юбки из черной самотканой шерсти, и он увидал ее испуганное и сияющее улыбкой лицо. Она была боса, в одной юбке и в простой суровой рубахе, заправленной в юбку. Под рубахой стояли ее девичьи груди. Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава — округлые руки. И все в ней, от небольшой головки, покрытой желтым платочком, и до маленьких босых ног, женских и вместе с тем детских, было так хорошо, так ловко, так пленительно, что Митя, видевший ее до сих пор только наряженной, впервые увидавший ее во всей прелести этой простоты, внутренне ахнул.

— Ну, скорее, что ли,— весело и воровски прошептала она и, оглянувшись, нырнула в шалаш, в его пахучий сумрак.

Там она приостановилась, а Митя, стиснув зубы, чтобы удержать их стук, поспешил запустить руку в карман — ноги его были напряжены, тверды, как железо,— и сунул ей в ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и села на землю. Митя сел возле нее и обнял ее за шею, не зная, что делать,— надо ли целовать или нет. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма,— все было до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше: страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Она откинулась и легла навзничь. Он лег рядом, привалился к ней, протянул руку. Тихо и нервно смеясь, она поймала ее и потянула вниз.

— Никак нельзя,— сказала она не то в шутку, не то серьезно.

Она отвела его руку и цепко держала ее своей маленькой рукой, глаза ее смотрели в треугольную раму шалаша на ветви яблонь, на уже потемневшее синее небо за этими ветвями и неподвижную красную точку Антареса, еще одиноко стоящую

в нем. Что выражали эти глаза? Что надо было делать? Поцеловать в шею, в губы? Вдруг она поспешно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:

— Ну, скорей, что ли...

Когда они поднялись,— Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованием,— она, перекрывая платок, поправляя волосы, спросила оживленным шепотом,— уже как близкий человек, как любовница:

— Вы, говорят, в Субботино ездили. Там поп дешево поросят продает. Правда ай нет? Вы не слыхали?

XXVIII

На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил как из ведра.

Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно.

И весь день Митя без устали ходил по саду и весь день так страшно плакал, что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез.

Параша искала его, кричала на дворе, в липовой аллее, звала обедать, потом чай пить — он не откликался.

Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч; на их черноте густая зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Налетавший от времени до времени ветер свергал с деревьев еще и другой ливень — целый поток брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания. Его белый картуз обвис, стал темно-серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в грязи. Весь облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с заплаканными, безумными глазами, он был страшен.

Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллей, а порой просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблонь и груш, натыкаясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим лишайником. Он сидел на разбухших, почерневших скамейках, уходил в лощину, лежал на сырой соломе в шалаше, на том самом месте, где лежал с Аленкой. От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно бледное лицо с провалившими щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив нога на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой

падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером,— привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на несколько дней,— опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:

«Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю — вы знаете с кем... Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!»

Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивая зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты, которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью,— это было выше человеческих сил! А рядом с этим ты — это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, он это знал: бесполезно! Все кончено и кончено навеки!

Перед вечером дождь, обрушившийся на сад с удесятеренной силой и с неожиданными ударами грома, погнал его наконец в дом. Мокрый с головы до ног, не попадая зуб на зуб от ледяной дрожи во всем теле, он выглянул из-под деревьев и, убедившись, что его никто не видит, пробежал под свое окно, снаружи приподнял раму,— рама была старинная, с подъемной половиной,— и, вскочив в комнату, запер дверь на ключ и бросился на кровать.

И стало быстро темнеть. Дождь шумел повсюду — и по крыше, и вокруг дома, и в саду. Шум его был двойной, разный,— в саду один, возле дома, под непрерывное журчание и плеск желобов, лившихся воду в лужи,— другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую тревогу и вместе с жаром, которым пылали его ноздри, его дыхание, голова, погружало его точно в наркоз, создавало какой-то как будто другой мир, какое-то другое предвечернее время в каком-то как будто чужом, другом доме, в котором было ужасное предчувствие чего-то.

Он знал, он чувствовал, что он в своей комнате, уже почти темной от дождя и наступающего вечера, что там, в зале, за чайным столом, слышны голоса мамы, Ани, Кости и землемера, но вместе с тем уже шел по какому-то чужому дому вслед за уходившей от него молодой нянькой, и его охватывал необъяс-

нимый, все растущий ужас, смешанный, однако, с вожделением, с предчувствием близости кого-то с кем-то, близости, в которой было что-то противоестественно-омерзительное, но в которой он и сам как-то участвовал. Чувствовалось же все это через посредство ребенка с большим белым лицом, которого, перегнувшись назад, несла на руках и укачивала молоденькая нянька. Митя спешил обогнать ее, обогнал и уже хотел заглянуть ей в лицо,— не Аленка ли это,— но неожиданно очутился в сумрачной гимназической классной комнате с замазанными мелом стеклами. Та, что стояла в ней перед комодом, перед зеркалом, не могла его видеть,— он вдруг стал невидим. Она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно облегающей округлые бедра, в туфельках на высоких каблучках, в тонких ажурных черных чулках, сквозь которые просвечивало тело, и она, сладко робея и стыдясь, знала, что́ сейчас будет. Она уже успела спрятать ребенка в ящик комода. Перекинув косу через плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядела в зеркало, где отражалось ее припудренное личико, обнаженные плечи и млечно-голубые, с розовыми сосками, маленькие груди. Дверь распахнулась — и, бодро и жутко оглядываясь, вошел господин в смокинге, с бескровным бритым лицом, с черными и короткими курчавыми волосами. Он вынул плоский золотой портсигар, стал развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрела на него, зная его цель, потом швырнула косу на плечо, подняла голые руки... Он снисходительно обнял ее за талию — и она охватила его шею, показывая свои темные подмышки, прильнула к нему, спрятала лицо на его груди...

XXIX

И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб, что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за могилой. В комнате была тьма, за окнами шумело и плескалось, и этот шум и плеск были нестерпимы (даже одним своим звуком) для тела, сплошь дрожащего от озноба. Всего же нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого соития, которое как будто и он только что разделил с бритым господином. Из залы были слышны голоса и смех. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью от него, грубостью жизни, ее равнодушием, беспощадностью к нему...

— Катя! — сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги.— Катя, что же это такое! — сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала.— Ах, все равно, Катя,— прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она по-прежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись,— спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю. Но, прошептав: «Ах, все равно, Катя!» — он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему когда-то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь.

Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного — хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.

14 сентября. 1924
Приморские Альпы

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом,— все было прелестно в этой маленькой женщине,— и сказала:

— Я, кажется, пьяна... Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно... Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?

Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.

Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы). Поручик пробормотал:

— Сойдем...

— Куда? — спросила она удивленно.

— На этой пристани.

— Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.

— Сумасшествие...

— Сойдем,— повторил он тупо.— Умоляю вас...

— Ах, да делайте, как хотите,— сказала она, отворачиваясь.

Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами.

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города... Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике,— и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.

В десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безы-

мянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и — уже рассудительна.

— Нет, нет, милый,— сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе,— нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...

И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани,— как раз к отходу розового «Самолета»,— при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.

Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею — и пуст. Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

— Странное приключение! — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы.— «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать...» И уже уехала...

Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и конец этому «дорожному приключению»! Уехала — и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор... И прости, и уже навсегда, навеки... Потому что где же они теперь могут встретиться? — «Не могу же я,— подумал он,— не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трех-

летняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!»— И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! — И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние.

«Что за черт! — подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой.— Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?»

Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство — то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь! «А главное,— подумал он,— ведь и никогда уже не скажешь! И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход!»

Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд... Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением: как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? «Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе»,— подумал он, направляясь к базару.

Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок

и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность, мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки... Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало... Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом... Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость; даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один, нынешний день,— провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее... Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни.

— Совсем разгулялись нервы! — сказал он, наливая пятую рюмку водки.

Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться— он это чувствовал слишком живо — было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: «Отныне вся моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила:

— А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?

На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами... Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено,— да, поражено, он теперь понимал это,— этим страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных — молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе,— перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень... Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы.

— Куда идти? Что делать?

Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь... Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад.

Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее,— только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике! Он снял китель и взглянул на себя в зеркало: лицо его,— обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще белее,— имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего, безмолвного волжского

мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы,— и наконец заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи... И вчерашний день, и нынешнее утро вспомнились так, точно они были десять лет тому назад.

Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей.

— А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью! — весело сказал извозчик, берясь за вожжи.

Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода.

— В аккурат доставил! — сказал извозчик заискивающе.

Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань... Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода... И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней.

Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром.

Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг.

Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.

Приморские Альпы, 1925.

НОЧЬ

На даче темно,— час поздний,— и все окрест струится непрерывным журчанием. Я сделал длинную прогулку по обрывам над морем и лег в камышовое кресло на балконе. Я думаю — и слушаю, слушаю: хрустальное журчание, наваждение!

Ночная бездонность неба переполнена разноцветными, висящими в нем звездами, и среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звезд Млечный Путь, двумя неравными дымами склоняющийся к южному горизонту, беззвездному и поэтому почти черному. Балкон выходит в сад, усыпанный галькой, редкий и низкорослый. С балкона открывается ночное море. Бледное, млечно-зеркальное, оно летаргически-недвижно, молчит. Будто молчат и звезды. И однообразный, ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон стоит во всем этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то звенящему сну.

О чем я думаю?

«Решился я испытать разумом все, что делается под солнцем; но это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя... Бог сотворил людей разумно, но, увы, люди пустились в большую затейливость». И Екклезиаст отечески советует: «Не будь слишком правдив и не умствуй слишком». Но я все «умствую». Я «слишком правдив».

О чем я думаю? Когда я спросил себя об этом, я хотел вспомнить, о чем именно я думал, и тотчас же подумал о своем думанье и о том, что это думанье есть, кажется, самое удивительное, самое непостижимое — и самое роковое в моей жизни. О чем думал я, что было во мне? Какие-то мысли (или подобие мыслей) об окружающем и желание зачем-то запомнить, сохранить, удержать в себе это окружающее... Что еще? Еще чувство великого счастья от этого великого покоя, великой гармонии ночи, рядом же с этим чувство какой-то тоски и какой-то корысти. Откуда тоска? Из тайного чувства, что только во мне одном нет покоя — вечное тайное томление! — и нет бездумности. Откуда корысть? Из жажды как-то использовать это счастье и даже эту самую тоску и жажду, что-то создать из них... Но и тут тоска, Екклезиаст: «В будущие дни все будет забыто. Нет памяти о прежних людях. И любовь их, и ненависть, и ревность давно исчезли, и уже нет им участия ни в чем, что делается под солнцем».

О чем я думал? Но не важно, о чем именно думал я,— важно мое думанье, действие совершенно для меня непостижимое, а еще важнее и непостижимее — мое думанье об этом думанье и о том, что «я ничего не понимаю ни в себе, ни в мире» и в то же время *понимаю мое непонимание*, понимаю мою потерянность среди этой ночи и вот этого колдовского журчания, не то живого, не то мертвого, не то бессмысленного, не то говорящего мне что-то самое сокровенное и самое нужное.

Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что́ во сто крат больше меня, и, значит, доказательство моего бессмертия: во мне есть, помимо всего моего, еще некое нечто, очевидно, основное, неразложимое,— истинно частица бога.

Да, но ведь это частица того не имеющего ни формы, ни времени, ни пространства, что́ и есть моя гибель. Вкусите и будете как бог. Но «бог на небе, мы же на земле». Вкушая, для земли, для земных форм и законов умираем. Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен. Но эти-то божеские свойства и ужасны для меня. И если они все растут во мне, я для своей человеческой жизни, для этого земного «бывания» и «делания» гибну...

Неподвижно темнеют мелкие деревья в саду.

Между ними сереет галька, белеют белые цветы в цветнике, а дальше — обрывы — и млечной плащаницей подымается в небо море.

В этой млечности есть зеркальность; но на горизонте сумрачно, зловеще: это от Юпитера и оттого, что там, в южном небосклоне, нет почти звезд.

Юпитер, золотой, огромный, горит в конце Млечного Пути так царственно, что на балконе лежат чуть видные тени от стола, от стульев. Он кажется маленькой луной какого-то иного мира, и его сияние туманно-золотистым столпом падает в зеркальную млечность моря с великой высоты небес, меж тем как на горизонте, в силу противоположности со светом, мрачно рисуется как бы темный холм.

И непрестанный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, похож то на миллионы текущих и сливающихся ручьев, то на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальной спиралью цветы...

Только человек дивится своему собственному существованию, думает о нем. Это его главное отличие от прочих существ, которые еще в раю, в недумании о себе. Но ведь и люди отличаются друг от друга — степенью, мерой этого удивления. За что же отметил меня бог роковым знаком удивления, думанья, «умствования» так сугубо, зачем все растет и растет во мне оно? Умствуют ли мириады этих ночных, степных цикад, наполняющих вокруг меня как бы всю вселенную своей любовной песнью? Они в раю, в блаженном сне жизни, а я уже проснулся и бодрствую. Мир в них и они в нем, а я уже как бы со стороны

гляжу на него. «Пожирает сердце свое глупец, сидящий праздно. Кто наблюдает ветер, тому не сеять...»

Я слушаю и думаю. И от этого я бесконечно одинок в этом полночном безмолвии, колдовски звенящем мириадами хрустальных источников, неиссякаемо, с великой покорностью и бездумностью льющихся в какое-то бездонное Лоно. Горний свет Юпитера жутко озаряет громадное пространство между небом и морем, великий храм ночи, над царскими вратами которого вознесен он как знак святого духа. И я один в этом храме, я бодрствую в нем.

День есть час делания, час неволи. День во времени, в пространстве. День — исполнение земного долга, служения земному бытию. И закон дня повелевает: будь в делании и не прерывай его для осознания себя, своего места и своей цели, ибо ты раб земного бытия и дано тебе в нем известное назначение, звание, имя. А что есть ночь? И подобает ли человеку быть пред лицом ее в бодрствовании, в том непостижимом, что есть наше «умствование»? Заповедано было не вкушать от запретного плода, и вот послушай, послушай их, этих самозабвенных певцов: они не вкушали и не вкушают! И что иное, как не славословие им, вынесли Екклезиасты из всей своей мудрости? Это они сказали: «Все суета сует, и нет выгоды человеку при всех трудах его!» Но они же и прибавили — с горькой завистью: «Сладок сон работающего! И нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, и есть с веселием хлеб свой, и пить в радости сердца вино свое!» Что есть ночь? То, что раб времени и пространства на некий срок свободен, что снято с него его земное назначение, его земное имя, звание,—и что уготовано ему, если он бодрствует, великое искушение: бесплодное «умствование», бесплодное стремление к пониманию, то есть непонимание сугубое: непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего начала, ни своего конца.

У меня их нет,— ни начала, ни конца.

Я знаю, что мне столько-то лет. Но ведь мне сказали это, то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, а следовательно, и счета моих лет, но даже и того, что я существую по причине рождения.

Рождение! Что это такое? Рождение! Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось

во мне почти тождественно. «Я помню, что когда-то, мириады лет тому назад, я был козленком». И я сам испытал подобное (как раз в стране того, кто сказал это, в индийских тропиках): испытал ужас ощущения, что я уже был когда-то тут, в этом райском тепле.

Самообман? Самовнушение?

Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали именно в индийских тропиках. Как же могли они, столько раз передававшие своим потомкам и наконец передавшие и мне почти точную форму уха, подбородка, бровных дуг, как могли они не передать и более тонкой, невесомой плоти своей, связанной с Индией? Есть боящиеся змей, пауков «безумно», то есть вопреки уму, а ведь это и есть чувство какого-то прежнего существования, темная память о том, например, что когда-то древнему пращуру боящегося постоянно грозила смерть от кобры, скорпиона, тарантула. Мой пращур обитал в Индии. Почему же, при виде кокосовых пальм, склоненных с океанийского прибережья, при виде голых темно-коричневых людей в теплой тропической воде, не мог вспомнить я того, что́ я чувствовал некогда, будучи своим голым темно-коричневым предком?

Но нет у меня и конца.

Не понимая, не чувствуя своего рождения, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы даже малейшего представления, знания, а может, и ощущения, родись я и живи на каком-нибудь совершенно необитаемом, без единого живого существа, острове. Я всю жизнь живу под знаком смерти — и все-таки всю жизнь чувствую, будто я никогда не умру. Смерть! Но каждые семь лет человек перерождается, то есть незаметно умирает, незаметно возрождаясь. Значит, не раз перерождался (то есть умирал, возрождаясь) и я. Умирал — и, однако, жил, умер уже многократно — и, однако, в основе все тот же, что и прежде, да в придачу еще весь полон своим прошлым.

Начало, конец. Но страшно зыбки мои представления времени, пространства. И с годами все больше не только чувствую, но и сознаю я это.

Меня выделили из многих прочих. И хотя всю жизнь я мучительно сознаю слабость и недостаточность всех моих способностей, я, по сравнению с некоторыми, и впрямь не совсем обычный человек. Но вот именно поэтому-то (то есть в силу моей некоторой необычайности, в силу моей принадлежности к некоторому особому разряду людей) мои представления и ощущения времени, пространства и самого себя зыбки особенно.

Что это за разряд, что это за люди? Те, которых называют поэтами, художниками. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и прочих,— то есть, как принято говорить, способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью. А для того, чтобы быть одним из таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть особенно сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия. И вот Будда, Соломон, Толстой...

Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Разительное сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми! И вообще, сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности! Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды (и припадки Магомета, когда ангелы в молниях открывали ему «тайны и бездны неземные» и «в мановение ока», то есть вне всяких законов времени и пространства, переносили из Медины в Иерусалим — на Камень Мориа, «непрестанно размахивающийся между небом и землей», как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным).

Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи,— вот она, эта звенящая, колдующая Майя, послушай, послушай ее!— и все отличаются всё возра-

стающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения...

Слабое движение воздуха, запаха цветов из цветника и морской свежести неожиданно доходит до балкона. И через минуту слышится шорох, тихий вздох полусонной волны, медленно накатившейся где-то внизу на берег. Счастливая, дремотная, бездумная, покорная, умирающая, не ведая того! Накатилась, плеснула, озарила пески бледно-голубым сиянием,— сиянием несметных жизней,— и так же медленно потянулась назад, возвращаясь в колыбель и могилу свою. И несметные жизни поют окрест как будто еще исступленнее, и Юпитер, золотым потоком льющийся в великое зерцало вод, блещет в небесах как будто еще страшнее и царственнее...

Разве я уже не безначален, не бесконечен, не вездесущ?

Вот десятки лет отделяют меня от моего младенчества, детства. Бесконечная давность! Но стоит мне лишь немного подумать, как время начинает таять. Не раз испытал я нечто чудесное. Не раз случалось: вот я возвратился в те поля, где я был некогда ребенком, юношей,— и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мной с тех пор, точно не было. Это совсем, совсем не воспоминание: нет, просто я опять прежний, совершенно прежний. Я опять в том же самом отношении к этим полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира, какое было у меня вот здесь, на этом проселке, в дни моего детства, отрочества!

В такие минуты не раз думал я: каждый миг того, чем я жил здесь когда-то, оставлял, таинственно отпечатлевал свой след как бы на каких-то несметных, бесконечно-малых, сокровеннейших пластинках моего Я — и вот некоторые из них вдруг ожили, проявились. Секунда — и они опять меркнут во тьме моего существа. Но пусть, я знаю, что они есть. «Ничто не гибнет — только видоизменяется». Но, может, есть нечто, что не подлежит даже и видоизменению, не подвергается ему не только в течение моей жизни, но и в течение тысячелетий? Великое множество таких отпечатков передано мне моими предками, пращурами. Богатство способностей, гений, талант,— что это, как не богатство этих отпечатков (и наследственных, и благоприобретенных), как не та или иная чувствительность их и количество их проявлений в луче того Солнца, что откуда-то падает на них порою?

Недавно, проснувшись случайно на рассвете, я вдруг поразился мыслью о своих годах. Казалось когда-то, что это

какое-то особое, почти страшное существо — человек, проживший сорок, пятьдесят лет. И вот таким существом стал наконец и я. Что же я такое, сказал я себе, чем именно стал я теперь? И, сделав маленькое усилие воли, взглянув на себя как на постороннего,— как дивно, что мы это можем! — я, конечно, совершенно живо ощутил, что я и теперь совершенно тот же, кем был и в десять, в двадцать лет.

Я зажег огонь, посмотрел в зеркало: да, есть уже сухость, определенность черт, есть серебристый налет на висках, несколько поблек цвет глаз... Но что с того?

И я особенно легко встал, вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по-ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно рождающийся день, слабо и таинственно разделивший на уровне моей груди их полутьму.

Покой, особый, предрассветный, царил еще и во всем том огромном человеческом гнезде, которое называется городом. Молчаливо и как-то по-иному, чем днем, стояли многооконные дома с их многочисленными обитателями, столь как будто разными и столь одинаково преданными сну, бессознанию, беспомощности. Молчаливые (и еще пустые, еще чистые) лежали подо мной улицы, но уже зелено горели газовые огни в их прозрачном сумраке. И вдруг опять испытал я то непередаваемое чувство, которое испытываю всю жизнь, когда мне случается проснуться на ранней заре,— испытал чувство великого счастья, детски доверчивой, душу умиляющей сладости жизни, чувство начала чего-то совсем нового, доброго, прекрасного — и близости, братства, единства со всеми живущими на земле вместе со мною. Как я понимаю всегда в такие минуты слезы Петра-апостола, который именно на рассвете так свежо, молодо, нежно ощутил всю силу своей любви к Иисусу и все зло содеянного им, Петром, накануне, ночью, в страхе перед римскими солдатами! Я опять пережил совершенно, как свое собственное, это далекое евангельское утро в Элеонской оливковой роще, это отречение Петра. Время исчезло. Я всем существом своим почувствовал: ах, какой это ничтожный срок — две тысячи лет! Вот я прожил полвека: стоит только увеличить мою жизнь в сорок раз, и будет время Христа, апостолов, «древней» Иудеи, «древнего» человечества. *То же самое солнце*, что когда-то увидел после своей бессонной ночи бледный, заплаканный Петр, вот-вот опять взойдет и надо мною. И почти те же самые чувства, что наполнили когда-то Петра в Гефсимании, наполняют сейчас меня, вызывая и на мои глаза те же самые слезы, которыми так сладко и больно заплакал Петр у костра. Так где же мое

время и где его? Где я и где Петр? Раз мы так слились хотя бы на мгновение, где же оно, это мое Я, утвердить и выделить которое так страстно хотелось мне всю жизнь? Нет, это совсем, совсем ничего не значит,— то, что я живу на земле не во дни Петра, Иисуса, Тиверия, а в так называемом двадцатом веке! И сколько я жил в воображении чужими и далекими жизнями, чувством, будто я был всегда и всюду! А где грань между моей действительностью и моим воображением, моими чувствами, которые есть ведь тоже действительность, нечто несомненно существующее?

Всю жизнь, сознательно и бессознательно, преодолеваю, разрушаю я пространство, время, формы. Неутолима и безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, но и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, но и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых дальних веков. Зачем же? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, или затем, чтобы, напротив, утверждать себя, обогащаясь и усиливаясь?

Есть два разряда людей. В одном, огромном,— люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что́ им до того, что так страшно ускользают в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, очень сравнительно малом, не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие тщету делания и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди «умствования», уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» — уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же — о каждом миге своего настоящего. Эти люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Эти люди райски чувственные в своем мироощущении, но рая уже лишенные. Отсюда и великое их раздвоение: мука ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее — и сугубого, страшного очарования ею. И каждый из этих людей с полным правом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не знал Желания, Жажды. Ты пребывал в покое, но Ты сам нарушил его: Ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений,

из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: «Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника!» Так, господи, я уже слышу тебя. Но еще горько мне разлучение с обманной и горькой сладостью Бывания. Еще страшит меня твое безначалие и твоя бесконечность...»

Да, если бы запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!

В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я о мерном шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь. Кто и зачем обязал меня без отдыха нести это бремя — непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой и силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье? Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу, передавать им себя и искать в них сочувствования, единения, слияния с ними? С младенчества никогда ничего не чувствую я, не думаю, не вижу, не слышу, не обоняю без этой «корысти», без жажды обогащения, потребного мне для выражения себя в наибольшем богатстве. Вечным желанием одержим я не только стяжать, а потом расточать, но и выделиться из миллионов себе подобных, стать известным им и достойным их зависти, восторга, удивления и вечной жизни. Венец каждой человеческой жизни есть память о ней,— высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой,— зачем, почему? — мечтой оставить в мире до скончения веков себя, свои чувства, видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!!» И тем страстнее кричу, что ведь на деле-то я не устрояющий, а разоряющий себя — и не могущий быть иным, раз уже дано мне преодолевать их,— время, пространство, формы,— чувствовать свою безначальность и бесконечность, то есть это Всеединое, вновь влекущее меня в себя, как паук паутину свою.

А цикады поют, поют. Им тоже оно дано, это Всеединое, но сладка их песнь, лишь для меня горестная,— песнь, полная райской бездумности, блаженного самозабвения!

Юпитер достиг предельной высоты своей. И предельного молчания, предельной недвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия достигла ночь. «Ночь ночи передает знание». Какое? И не в этот ли сокровенный, высший час свой?

Еще царственнее и грознее стал необъятный и бездонный храм полнозвездного неба,— уже много крупных предутренних звезд взошло на него. И уже совсем отвесно падает туманно-золотистый столп сияния в млечную зеркальность летаргией объятого моря. И как будто еще неподвижнее темнеют мелкие деревья, ставшие как бы еще мельче, в этом скудном южном саду, усыпанном бледною галькой. И непрестанный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, стал еще более похож на какие-то дивные, всё как будто растущие хрустальными винтами цветы... Чего же наконец достигнет это звенящее молчание?

Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни, шорох накатившейся на берег и разлившейся волны, и за ним — опять легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов. И я точно просыпаюсь. Я оглядываюсь кругом и встаю. Я сбегаю с балкона, иду, хрустя галькой, по саду, потом бегу вниз, с обрыва. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель, несметных жизней... Нет, еще не настал мой срок! Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований. Еще как женщина вожделенно мне это водное ночное лоно...

Боже, оставь меня!

Приморские Альпы. 17 сентября. 1925

БОЖЬЕ ДРЕВО

14 июня.

Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.

Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе —

мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается:

— Господам дворянам почтение!

Мы приостановились:

— Доброго здоровья. Караульщик?

Он снял шапку и уже без всякой шутливости, низко, истово поклонился:

— Так точно. Буду караулить, вам и хозяину угожать.

— Так... Надевай шапку-то.

— Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу, и то не сравнял.

— А откуда ты и как величать тебя?

— Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.

И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно — по говору. Возраста неопределенного,— лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше,— наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти,— все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой кое-где седеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:

— Вот чаек себе налаживаю. Самоварчикя, признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугунчикя попьем...

Мы заглянули в шалаш,— там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек...

— Домок, как у зайца тяремок,— еще раз пошутил он.— Милости просим гостями быть...

В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:

— А как думаешь, будет дождь?

Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:

— Кабыть так. Маяго кобелькя нынче что-й-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожжу, она, мышь-крыса усякая, перед дожжем сильней пахня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем...

Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, таперь, но все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест.

Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать (вернее, приговаривать):

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?

Мы невольно засмеялись — так ловко у него это выходило — и опять приостановились:

— Как, как?

— А вы раззе ня знаятя? — ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос:

Где ж ты бывала?
Где ж ты лятала?

И стал пошевеливать плечами, покачивать головой:

Нихто совушку ня знал,
Нихто ее не спознал,
Спознали два луня,
Спознали два друга:
— Ты приветь мине, луня,
Поди замуж за мине!

— А она, значит, не жалае, не хоча,— сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно:

А она не хоча
Ды как захохоча!
Назад сторонилась,
У лес завалилась —
Кверху ногою,
Об пень головою...
Ах, що ж это в лесе?
Каго это беся?

15 июня.

Погода все хмурится, от скуки ездили в Осиновые Дворы, за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею, к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем:

— А ты, значит, куришь, Яков Демидыч?

— Я-то? — сказал он.— А я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Мая душа прямая, все примая, и мед, и тот прет. На гулянках и покурить ни плохо.

— А насчет водочки как?

— А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Хто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому ни поднеси. Зашел так-то праздник престольный — отчего ж нямножко не погулять, не потратиться? Я ня жадный, я добродушный. Их, денег, жалеть нечево. Попурая голова и с рублем пропадае!

Потом поговорили о том, что и как, надо полагать, уродится нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако не болтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает. Между прочим, спросил:

— А вы що ж, господа, только лето тут, а то все в Москве?

И стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями — и рассказал целую историю о том, как будто бы приехал однажды в деревню некий московский «обуватель», то есть обыватель, как он ничего не ел, не пил, брезгуя всем деревенским, и как неудачно сходил он за нуждой за избу: сел там да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему «причинное место» оторвали.

— Он как вскоча: ах, що ж мне, мол, таперь делать, да за ними,— не успел и штанов подхватить,— а оне по деревне да прямо в народ, на улицу, а там девок цельный карогод...

Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями, — бросился, значит, бежать,— и согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками.

— Ах, батюшки, да що ж эта такое, вот срам-то, девки!

— А ты был когда-нибудь в Москве? — спросили мы.

— А на що она мне? — сказал он с веселой небрежностью.— Мы люди простые, черные. Там, говорят, нажива одна, людодерство, усе норовят друг над другом поверхность одержать, друг у друга что ни есть ухáмить... А вы, я слышал, на степь ездили?

— Да,— ответили мы.— Да это только так говорится степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету.

— Эта правда, у вас тут буераков много,— сказал он.— А вот как выедешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется, конца-краю этой степи не видать, до самого синя-моря идет, до Нагая. И чаво только нету там! И овсы, и ячменя, и твяты (цветы) усякие, и ковыль белый, седатый... Я так полагаю, лучче нашей державы во всем свете нету!

Потом рассказал, где, в каких «странах» он бывал — «за самый Царицын подавался»,— какие «народности» видел, и я все дивился, сколько употребляет он слов старинных, древних даже, почти всеми забытых: изнугряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вместо торговать, огонь взгнетать вместо зажигать... Нагайцев он назвал кумане,— древнее название половцев,— конину ма́ханиной. Формы у него тоже свои: «Он неладно думал об мужиков», сказал он, например, про москвича. А про своего кобелька так:

— Он любит *воять* в темные ночи.

16 июня.

Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муравой, из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака.

Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков: тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода, и вниз по его рубахе и порткам течет пестрая, радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя спрашиваю:

— Что, Яков Демидыч, не весел?

Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли:

— Чем не весел?

— Да как же,— шапка на лоб, идешь грустный.

— Чем грузный?

— Да не грузный, а грустный, скучный.

— Скушный? Никак нет. По чем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью, человек печалью. А мне скучать не по́ чем, я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе, сейчас кашку сабе совосто́жу... Я люблю по садам сидеть, люблю, кода ветвей много, а у вас этого вволю, сад отменный.

У вас тут благодать, мне тут скучать нечего. Кобель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело. А я хрещеный человек. Я, господа хорошие,— сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку со лба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрыми глазами,—я живу, как бог вялит, я, как говорится, божья древо: куды ветер, туда и она...

Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными зевсоподобными главами вставали из-за столетних берез на валу, за лощиной все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. В фруктовом саду, с блаженной беззаботностью, игриво и томно выводила свои флейтовые переливы иволга... Отчего так особенно прекрасно все старинное, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно, услыхал? Яков, спиной ко мне, сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в ярко-оранжевый огонь, распаленный в ней, чугунчик с водой и опять пел,— вполголоса, нежно и жалобно:

Мой стон и грусти люты
Вообрази сабе
И вспомни те минуты,
Как был я люб табе...

И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптями:

Ах, сыпься, горох,
На двенадцать дорог,
Кода буду помирать,
Тода буду подбирать!

— Яков Демидыч,— сказал я, подходя,—где ты мог эту песню слышать?

— Какую? — спросил он, оборачиваясь.

— А вот эту, про стон и грусти люты? Теперь таких песен не поют, эта песня старинная и к тому же господская.

— Это правда,— ответил он,— эта песня томная. Но только я таких много знаю. Могу эту сыграть: «Я не помню в оный час твоея досады», а еще «От несклонности твоей дух во мне мететься», а еще «Мне припятства ни по чем, не спасусь любови». Могу и про девок: «Естьли девки все метрессы, бросим мудрости и мы...» Ведь мы, однодворцы, в старые времена тоже, бают,

господа были.Над нами барские и теперь еще смеются: ты, мол, гáлман, чьих господ барин?

— Кстати,— сказал я,— что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство, что ты зимой делаешь?

— Да ведь вы мине про то не спрашивали,— ответил он.— А сам я не насмелился. А ну-ка вам эта безо всякой надобности? А семьи у мине нету, первая жана померла давно, а другая ушла, не пожелала со мной жить, соскучилась, значит. А сыновья, какие остались, один в солдатах, а другой во двор пошел, сапожнпчает, пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало... Постойте-ка, вас, никак, к столу кличут?

— Ну, видно, до вечера,— сказал я и пошел в дом.

Божье древо — это очень неплохо сказано.

17 июня.

Жить, говорит Яков, надо так, как жили деды, прадеды. Новшеств, однако, не отвергает:

— Вот, скажем, таперь молотилки пошли. Що ж, эта не бяда. Бывалыча, как станем гужом, в двадцать цепов, да как вдарим враз — заслушаешься, до чего ладно выговаривая! Ну, а в сырую погоду, знамо дело, молотилка куда удобней.

Царя ни в чем дурном не винит:

— Министры виноваты. Вроде как господские бурмистры в прежнее время...

Богатым он не желал бы быть: объешься, обопьешься, будешь по перинам валяться, а пух человеку вреден, имеет будто бы свойство «притягивать». Но жить в достатке, конечно, не прочь бы.

Смерти не боится,— по крайней мере, утверждает так. Сказал с нарочитой развязностью:

— Вона, чаго ее бояться! Все равно, никто жалеть не будя. Лес по дереву не тужит!

Беседуя, он все время пристально работал: делал себе лозниковую дудку, я, говорит, люблю эти дудки и жилейки, буду вам играть «Во лузях», лучше этой песни во всем свете нету: «Расцвяли твяты лазоревые, понеслись духи малиновые...»

Пишу в библиотеке. Окна в сад открыты, подоконники горят на солнце. На подоконниках насыпаны и сохнут, сладко пахнут лепестки роз. В саду — радость, зелень, птицы, прекрасное летнее утро. И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе этого милого человека.

Едем в Субботино, на станцию, встречать городских гостей.

Собираться запрягать стали тотчас после завтрака, хотя поезд приходит четверть пятого. Впрочем, запрягали, как всегда, часа два: покуда тарантас выкатили из каретного, покуда его подмазали, покуда сбрую собрали, покуда лошадей вычистили и напоили...

Я, принарядившись, вышел из дому и пошел посмотреть, исправно ли переднее колесо, которое уже два раза посылали к кузнецу. Опять чудесный, праздничный какой-то день. Зной, блеск, потом это детское удовольствие при мысли о поездке. Тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться нельзя, лакированные крылья зеркально сияют, нагретая кожа фартука пахнет необыкновенно приятно... Яков с узелком под мышкой и с вальком в руке шел через двор к воротам.

— Ай в город? — спросил он, с усмешкой щурясь от солнца и приостанавливаясь.— Вот иду на речку по своему вдовьему делу, постирушечкя есть кое-какая... А вы в город? Що ж вы в такой вар, в самую жару средидневную? — сказал он, испытывая, видимо, большое удовольствие от этой жары и обилия света.

Я ответил, что едем гостей встречать, на станцию.

Он засмеялся:

— Ну, эта еще вволю на станции насидитесь! Она беспременно опоздает, машина-то. Ведь она как идет? Я так-то, кода еду по ней, захочу соскочу, земляники наемся и опять ее догоню... А гостечки, это ничаго, хорошо. Я, прежнее время, эта любил,— погостевать, попировать у хорошего соседа. У нас в старину село богатая была, сходка, бывало, соберется — все тузья, бояре, угошшали радушно, на полный рот. Бывало, не выдерешься с этого пиру, беседы: только поднялся,— ну, мол, спасибо, соседушка, сладок мед, да не по две ложки в рот, ко двору пора! — опять силком на лавку валят: стой, сват, давай еще по единой, по стремянной выпьем!

— Это что же за стремянная такая? — насмешливо спросил Илюшка, подходя к тарантасу с дугой.

— Вот и вышел Иван,— сказал Яков.— Как же ты не знаешь? Эта, значит, по самой последней, когда уж в стремя становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на пиру обносят, ложкой кормят, стеблóм глаза колят, кажный стаканчик считают...

Погоду сглазили, нынче весь день льет.

Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись вовремя, к ужину (проездивши даром, гости обманули). Но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету божьего не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем, до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось, в комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых мотающихся ветвей. Месяц был странный — совсем оранжевый. В небе над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах, с надеждой на чудесную погоду,— так сладко успокоилось все к полночи и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно-тихом саду. Однако нынче опять льет, шумит по крыше с самого утра.

После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями, всюду все пересыщено водой,— трава, земля, зелень деревьев, черная солома шалаша. Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшем в шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой, цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову:

— Вона, как нарядились! Жидки вы, господа дворяне, на расправу! А дожжок, правда, словно нанялся, прости господи. Мой кобелек и тот не вытерпел: забился в салас, весь день почивает. То, бывало, не докличешься, а нонче и Аниска не мила.

— Какая Аниска?

— А ваша, стряпухина. Он с ней так сдружился, часу не может без ней быть. Набегаются, накатаются по двору — и под водовозку, либо под крыльцо: обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно.

— Умильно-то умильно,— сказали мы,— а вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? Смотри-ка, что у тебя в шалаше,— во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится.

— Нет, я ночевал смирно,— ответил Яков.— Она протекать-то как следует стало только нонче. А дожжок, это для хлебов таперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все хорошо, все слава богу. Вы вчера поехали, а я думаю: ой, прихватит моих господ к вечеру! Ну, и правда, и грозу же разыграл господь! Как полыхнет, полыхнет — хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у сотского двух ребят убило, у князя в саду самое толстолетнее древо повалило...

— Ну, вот, а ты говоришь, все хорошо, — сказали мы.

— А как же быть-то? — возразил он.— Убило — значит, не подвертывайся. Що, значит, кому назначено, всякому свой жребий, на это обижаться нельзя. Бог и колосьев не сравнял. Один дурак, другой умный, один богатый, другой побирушка, он помер нонче, а я завтра...

Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимая рубаху на свет и оглядывая, не протерто ли еще где, стал рассказывать про себя, про свой жребий:

— У нас двор в старину знаменитый был. Да знамо дело — стали делиться, ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да що ж, я не жадный. Я своей скудости не стыжусь: чем девчонка виновата, что юпчонка маловата? Одна беда — детей много было. Жанили рано, а она и наваляла мне их — баба, правда, отменная была. Я с ней осемнадцать годов отжил и девять человек наплодил.

— Значит, любишь это дело? — пошутили мы.

Он тотчас же, в угоду нам, подхватил шутку.

— Баб-то? А кто ж их не любит? Да я и теперь не откажусь, подавай какую хочешь. При старости при такой не гребуют пикакой, у чужом у краю и с рябой как в раю. Вон, бают, господа какие-то ярусные капли пьют, чтоб, значит, яровитей быть, а я и без них, как дорвусь, в рукавицах не оттащишь: старая кобыла борозды не испортит! А детей, говорю, правда, много нарожал. Ну, только их почти всех бог по одному прибрал, мне и стало посвободнее. А как и жана померла, я семь годов вдовцом ходил. Думал, так и свекую. Ан суседки зачали сбивать, что ж ты, мол, как обсевок какой в поле, рубахи некому постирать... Жанись да жанись, я и послу-

хался. Тут как раз брата моего старшого убили, я и думаю себе...

— Постой, как убили? Кто убил?

Он мотнул головой и засмеялся:

— Казаки убили, пропади они пропадом. Они ведь страшные жадные, áредные, черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал — приловчился у них в отарах овечек поворовывать, а они и поймай его. Схоронились так-то в яруге, в балке, а как завидели, что он ярку по полю в сумерках на себе прет, выскочили и давай его нагайками парить, по ушам да по чем попадя глушить... Так до смерти и засекли. Ну, а я в тую пору и жанился. Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься? Кто, думаю, за меня за такого пойдет, за старого да вдового? Ан все случай. Зашел раз к невестке, ко вдове братниной, а там нищенка, дурочка, сидит, хлебушка зашла попросить. Я ее и вспрашиваю, смеху ради: «Что ж ты, дескать, шатаешься, побирушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая. Авось, мол, ума большого там с тебя не спросят».— «Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы». Ишь ты, мол, какая шустрая! За хорошую! При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примеру, хорошая голова,— дескать, я,— пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость: стар пестрец, да уха сладка. Ну, а она, понятно, рада-радехонька. Кто ж ее такую-то опричь вдовца возьмет? Дундук, бестолковая, побирушка, а красотой так даже я перед ней король. Повенчались наране Успенья, а она пожила осень да зиму, а на Фоминой и пятки салом подмазала: ушла. Меня, говорит, любовники жамками кормили, а ты кобель, у тебя нету ничего... Понятно, обыкла шататься, работой скучает, ну и ушла, слава богу...

— Так ты теперь и живешь один? — спросили мы.

— Так вот и живу,— подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела.— Так и живу, бояре хорошие,— сказал он, легонько вздыхая.— Когда будем помирать, тогда будем горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, вóлну бью по суседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету.

— Ну, а дети твои? Они дома живут?

— Дети у меня никуда,— сказал он.— Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах, другой хромой, пьяница, сапожник... Сапожник, сапожник, а родному отцу без пятака латки на сапог не положит! А как у самого нужда — сейчас к отцу: «Батя, помоги!» Ну, и помогаю по силе-мóчи...

И вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо, сильный северо-западный ветер, все небо движется сумрачными и величественными облаками, купоросно ярка зелень сада.

Яков вчера отсыпался на печке в людской,— «прозяб маленько»! Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями с зеленой листвой... Яков, конечно, не унывает:

— Ничего! Авось не первая волку зима! Мы этих бурей не боимся!

И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая, в одной грязной рубашонке, опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве на дворе.

— Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается... А вчерась что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут, забежала туда и давай помазком себе голые ноги холить! Явилась в избу — мать так и ахнула...

Перед вечером прогляпуло с запада солнце. По низу аллеи, между стволами, стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили,— теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за «чайкём».

— А ты, Яков Демидыч, сказки разные, стихи, былины знаешь?

— Это как побирушки-то на ярмарках кричат? Это я много знаю. Я три лета при свечной лавке жил, ездил торговал с прикашшпками по селам, по престольным праздникам,— нас семь подвод было. Они страсть как кричат, эти калеки перехожие. Как поднимут, поднимут «разжалкие папашечки...».

— А ты можешь по-ихнему кричать?

— Вона, еще бы табе!

И в ту же минуту, поставив чашку с чаем на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос, на разные голоса вопить:

— Разжалкие папашечки, разжалкие мамашечки, подайте, Лазарю убогому, безногому! Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не можа, смальства страдая! Ваша подающая рука, которая подавает, та вовек не оскудевает! Ваша подаянья на огне не горит и в воде не тонет, ее моль не ест, ни ржа не

точа! Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения! Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасенью угодите! Разжалкие сестрицы, братцы, мы, как помрем, ничего с собой не возьмем — ни злата, ни сéребра, ни богачества, ни имения! Смальства он, Лазарь, не ходил, не служил, согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть! Небесная птица, не можа ее без крыла по воздуху носить, так бедный калека не можа на своих ножках ходить! Разжалкие наши питатели, вы подайте свое верное подаянье ни другу, ни брату,— подайте самому господу богу святу!

Кончив, он открыл глаза, засмеялся и, опять взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахару, назидательно прибавил:

— Вот они как кричат, народ обманывают. Их всех надо по тюрьмам рассажать, они там сытые и на всем готовом будут.

— Ну, а какие ты сказки знаешь? — спросили мы.

Он подумал, весело глядя в землю:

— Сказки? Про Конька-горбунька знаю, про младаго Ивана Царевича, как он по охоту ходил, свою царевну добывал, а еще про этого Алексея Божьи человеки...

И, опять прикрыв глаза, начал скороговоркой, мешая сказочный лад речи с обыденным:

— У главном городе у Рыме, при первом царю при Онории, при великом князе Претемьяну, жил, значит, князь со княгинею. Он усердно молился, трудился, просил себе детища у матери госпожи пресвятой богородице. Создай мне, дескать, господи, единую чаду, при младых лет на посмотрение, при старости на призрение. И вскорости, значит, так по его молитве и вышло дело. Алексей Божьи человеки скитался и спасался, а мать с отцом его не узнали, за побирушку почитали. И возговорит он тут отцу-матери, состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зяленом саду, где всякий мусор мечут и помои свиньям льют. Зачал он в келье трудиться со всеми своими образами, иконами, с пресвятой госпожой богородицей и тут, значит, и век свой младой скончил. Отворил служка двери, взошел на порог и гроб открыл, а он как живой лежит. И вскричали тут отец с матерью промежду себя: «Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Мы бы тебе в лучшем виде келью отстроили, твою младость успокоили!»

Когда он кончил и это и, убирая в шалаш чугунчик, хлеб, чашку, сказал, что теперь хорошо бы водочки стаканчик выпить да какой-нибудь закусочки закусить, мы спросили:

— А что ты из закусок больше всего любишь?

— Из закусок-то? — отозвался он.— Да что ж, вот селедочки не плохо закусить, бараинки жареной, пирожка с сомовинкой... ну, еще какой-нибудь там хвостик ветчинки, хунтик колбаски вареной... Да я, по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, когда на бойнях у купца в Ельце служил. Там и насчет этого самаго щепоточного, насчет баб то есть, было вольно. Ну, только я на это не льстился. Дома дело другое. Там иной раз займешься с какой-нибудь пожилой старушкой, сделаешь ей за работу безделицу какую, ножницы, скажем, поточишь али вялёк, каким на речке белье колотят, вырубишь, вот и расход весь. И самому лестно, и ей удовольствие...

24 июня.

Дождь, дождь и дождь.

С Яковом не видались давно, только немножко поболтали вчера вечером.

Сидит на соломе, ест кулеш из чугунчика. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку, на стене шалаша чернеет его большая тень. Снаружи, по шалашу, шуршит ветер с дождем, кругом, в саду, непроглядная чернота... Между прочим, опять попробовали попытать его насчет смерти:

— Вот ты говоришь, тебе пятьдесят седьмой, значит, лет через десять, может, и помирать придется. Думаешь когда-либо об этом, боишься?

— Нет, не думаю. Двум смертям не быть, одные не миновать. Чаго ж ее бояться!

— Да как же не бояться, ты только представь себе: вот в такую вот ночь да в гробу, в могиле, на кладбище...

Но он опять стал отделываться шутками,— видно, что разговор этот ему пока (то есть пока он здоров) совершенно неинтересен:

— Да авось туда, в могилу-то, не протечет, мелко не положат...

Разговор о боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен: «А, вон оно что, этот рай! Да какой же это рай? Ни трубочки, ни водочки! Кабы трубочка, да водочка, да кисет с табачкём, вот это иная была бы статья!»

— А нам думается,— сказали мы, пытая его,— ничего на том свете не будет, ни этого рая, ни ада.

Но тут он не согласился:

— А как же святые-то в раю живут, если его нету? Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и бога нету? Кабы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру сказать, бог травы, кормов, вся бы скотина поколела...

Потом рассказал, как Христос с дьяволом насчет людей делились — «вот как братья на селе делятся»:

— Тебе, говорит Христос, пущай мертвые достанутся,— тебе же лучше будет, мертвых-то ведь больше,— а мне, значит, живые... А потом обдумался, да и на попятный: ведь как же, ведь все они, живые-то, тоже когда-нибудь мертвые будут? И, значит, сошлись на том, что которые упасутся — ему, богу, а которые нет — дьяволу...

26 июня.

Дождь. Разговор о цели жизни:

— Яков Демидыч, для чего ты на свете живешь?

— Как для чего? Вот ваш сад караулю.

— Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился, для чего на земле существуешь?

— А господь его знает.

— Значит, не знаешь?

— А кто ж это знает?

— Да ведь надо знать. Надо думать, додумываться.

— Я и думаю.

— Ну, и что ж ты надумал?

— Надумал-то? По совести сказать, не знаю.

— А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить, жить в свое удовольствие?

— Нет, это я бы заскучал.

— Значит, ты живешь не для этого? Но тогда для чего же?

— А чтоб радость была.

— Радость! А это разве не радость,— сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть?

— Это сама собой.

— Значит, не в этом в одном дело?

— Стало быть, что нет.

— А в чем же?

Думает. Потом смеется:

— В чем да в чем! Мы вот так-то возили раз с покойником родителем хлеб с поля, а я и пристань к нему,— что, да как, да зачем,— я тогда еще совсем коростовый был,— а он молчал, молчал, да и говорит, наконец: «Вот как пущу тебе, малый, по ушам кнутом, тогда узнаешь зачем!»

28 июня.

Завтра уезжаю на юг, хотя ехать уже не хочется: опять наступили прекрасные дни.

Нынче Яков сказал мне:

— А народ у вас тут глупый, господа хорошие. Я вчера пошел на деревню серничков купить, иду задворками, а на гумне мужик стоит, а по меже ко ржам во весь дух бежит девочка лет семи али восьми... Бежит и, навзрыд плача, спешит изо ржей телушку выгнать, а он стоит и орет на всее поле. Длинный, долговязый, морда злая, скучная — и орет безо всякой совести: «Опять телушка во ржи, так-то твою так? Ты так-то за ней глядишь, распротак твою так?» — Я просто диву дался, до чаго свинья, невежа! Можно разе так-то на свое дитя кричать?

— Ну вот, а ты говоришь, что лучше нашей державы и лучше нашего народа во всем свете нету,— сказал я.

— А що ж? — поспешно и бодро ответил он.— Конешно, нету. Только, конешно, нас учить надо. Кабы подойтить к этому самому дураку да дать яму, щоб красные сопли потекли, небось в другой раз не горланил бы так-то! А еще и то сказать: не все ж и у вас подобные. Я вот нынче утром пастуха у вас за гумном видел: ну, до чаго хорош! — сказал он, вдруг засмеявшись и засияв от восхищения.— Сядит на меже и портки себе жжет! Скотина по всему полю разбрелась, а ему и горюшки мало! Вынул это стекло жгучее и наводит на портки: как солнце из-за облака выйдет — от порток дым столбом! Що ж ты, говорю, дурак, делаешь, ай маленький? Ведь тебя жанить давно пора! А у него рот до ушей от радости: да уж больно, говорит, чудно, дяденька! — А где ж ты ее взял, это самое стекло? — А мне брат солдат принес... Нет,— сказал он с удовольствием,— наш народ хороший, обоюдный!

Я сообщил ему, что завтра уезжаю.

— Ну, що ж,— сказал он весело и равнодушно.— Дай бог час. Живы будем, еще, можа, повидаемся... А далеко едете-то?

Я ответил, что на юг, к морю, купаться.

Он весело изумился:

— Как купаться? Да вы бы дома-то, в речке? А какие же там жители? Наши ай немцы?

— Там больше татары,— ответил я.

— А! — сказал он, немножко насмешливо улыбаясь.— Этих я люблю. Они, слух есть, нами сто лет владали. А известно — конь ездока любит. Опять же смирный народ, ласковый. Скажешь ему: здорово, мол, князь, есть платки? — он так и вскинется весь: «Есть, бачка, есть!» — «А магометовы портки?» — «Тьфу, не хорошо, грех так-то говорить!» И больше ничаго. Не то что жиды — те страшные обидчивые... А скучать вы не скучайте,— прибавил он неожиданно, уже давно, видимо, угадав, что мне не хочется и немного грустно уезжать,— это всегда так перед отъездом, все будто жалко чего-то, а в дороге, глядь, и разгулялся и забыл всех...

И, поднявшись, бодро пошел к огню, который, как всегда, пылал в земляной печурке против шалаша под липой, и на ходу легонько притопнул лаптями:

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка!

Приморские Альпы. 1927

У Щ Е Л Ь Е

Лесистое ущелье, предвечернее время.

Зеленой кудрявой смушкой, зеленым каракулем кажется издали густой лес, покрывающий горные скаты против аула. В лесу кто-то жжет костер, голубой дымок далеко тянется над зеленой смушкой, и его пряный запах мешается с миндальной свежестью леса.

Синее небо над горами бездонно и ясно,— лишь впереди, где ущелье сомкнулось, отвесно стоит в лазури витое из белоснежных клубов облако.

А там, в ауле, непрерывно звучит, восторженно плачет, переливно зовет и вопит роговая дудка: звук горловой, дикий, чарующий и страшный, слушая который думаешь о горных козлах, о весенней, грозной поре их страсти.

Это танцуют на крыше сакли подростки-татары: один стоит, надул губы, выпучил белки — играет на дудке, два других, пристально глядя в глаза друг другу, положив руки друг другу на плечи, подскакивают козлами, крепко топают на одном и том же месте.

Куда, в какую райскую пропасть устремлен их напряженный, радостный, остановившийся взгляд?

«Русь»

На соседней сакле сидит на корточках, вся сжалась и не спускает с них глаз девочка-подросток. Она худенькая, но уже длинная; она еще в одной рубахе, черная головка ее еще раскрыта; но глаза уже дивны и жутки, как у архангела...

Какое душу раздирающее блаженство в дудочных переливах и воплях!

1930

ПЕТУХИ

На охотничьем ночлеге, с папиросой на пороге избы, после ужина. Тихо, темно, на деревне поют петухи. Выглянула из окошечка сидевшая под ним, в темной избе, хозяйка, послушала, помолчала. Потом негромко, подавляя приятный зевок:

— Что ж это вы, барин, не спите? Ишь, уж не рано, *петухи опевают ночь*...

1930

МУРАВСКИЙ ШЛЯХ

Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный, пустынный большак... Много пустынных дорог и полей на Руси, но такого безлюдья, такой тишины поискать. И ямщик мне сказал:

— Это, господин, Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь и все не могли пройти...

Я спросил:

— А давно?

— И не запомнит никто,— ответил он.— Большие тысячи лет!

1930

МАРЬЯ

В избе, после сытного, праздничного обеда.

Работники в сапогах, в чистых рубахах, подстрижены, с красными, бритыми сзади шеями.

Рычат, ловко вторят две гармоньи:

Ра́зда́йся, наро́д:
Трепако́м идет Федо́т!

Илюшка и Наташа ходят друг перед другом, постукивают каблуками, не глядя друг на друга.

— Марья, а что ж ты сидишь?

Не отвечает, с сумрачной усмешкой щелкает подсолнухи.

— Ну хоть выходку сделай!

Мотает головой, исподлобья поглядывает на пляшущих своими далеко расставленными, в переносицу косящими черными глазами.

И вдруг встает, поправляет платок на плечах...

Ах, бог мой, как пошла!

Нехороша, немолода, невелика, сухощава, а у всех замирает сердце: какая сжатость сил, тайной страсти и какой оттого пущий блеск, лад!

Илюшка раздувает ноздри, дробит в пол каблуками, наступает:

Ух, сыпь чаще́,
Подавай слаще́!

Она плывет мимо, говоря небрежно, вскользь, как неживая:

Я ходила, подавала,
А тебе все мало, мало...

1930

СЛЕЗЫ

Подошла к воротам усадьбы старуха, побирушка. Старушечьи лохмотья, старушечьи прямые чулки на сухих ногах, замученные глаза...

Дал ей полтинник, попробовал разговориться:

— Ну вот, бабушка, везде ты ходишь, везде бываешь,— небось много интересного видишь?

Горько заплакала:

— Да что ж поделаешь, батюшка, конечно, видишь!

Ковылял по выгону дурачок Ваня, седой, стриженный клоками, в одной бабьей рубахе, с сумой через плечо:

— Ваня, здорово! Как поживаешь?

Косноязычно, слюняво и радостно:

— С большими слезами, папаша! С большими слезами!

1930

ДЕДУШКА

Сед, густоволос, лохмат, весь день курит.

Встает ни свет ни заря, и пока не закурит, не затянется — совершенно шальной, ничего не понимает.

И необыкновенно ненужен, чужд всему миру, всем чадам и домочадцам (хотя и зовут его папашей, дедушкой) и вот-вот скоропостижно помрет, навеки исчезнет из этого мещанского гнезда, из этого уездного захолустья — и поди-ка узнай тогда, расскажи, чем и для чего жил он в своем вечном табачном дурмане.

И все-то он играет какую-то роль:

— Дедушка, обедать! Лапша простынет!

— Да обедайте, обедайте без меня... Я потом... что останется...

А сам ждет не дождется обеда — с раннего утра.

— Папаша, вы хоть бы кальсоны переменили, ведь у вас целая укладка белья!

— Вот это спасибо! Целая укладка! Да у меня клока цельного давно не осталось! Небось, кабы было, не стал бы беречь! Мне теперь, милая невестушка, ничего не надо. Пожил, слава богу, пора и честь знать, об одном молю бога — околеть поскорей...

А сам жаден невероятно, над укладкой своей дрожит, и жить хочет ужасно, и твердо надеется прожить никак не менее века.

Зачем?

Но он и сам не знает зачем.

«Чужая душа — потемки». — Нет, своя собственная гораздо темней.

1930

БЕРНАР

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

— Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

— Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

— Хорошая погода, сударь.

— А ветер?

— С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море:

— Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых,— только чувствовалось, что они покрыты снегом,— доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

— Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

— Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнущий бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол,— где-то звонили, звучал Angelus... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира,— жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. Je crois bien que j'étais un bon marin.

Он сказал это, умирая,— это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

— В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

— Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

— Высокий, сухой, с энергичным и продубленным мор-

ской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

— Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

— Je crois bien que j'étais un bon marin.

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо», и что усердное исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал, в свою последнюю минуту? «Ныне отпущаеши, владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

— В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

<1929—1952>

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налево, ваше превосходительство,— грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого

не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство,— сказала она.— Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю,— ответила она.— Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич,— ответила она.

— Боже мой, боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее.— Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг,— забормотал он.— Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили,— сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи»,— прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой.— Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи,— сказал он, отворачиваясь и подходя к окну.— Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей,— ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом.— Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно,— жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал,— пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но, боже мой, что же было бы

дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.

20 октября 1938

СТЕПА

Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед за тем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах, завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже

собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамблэ, вечером ожиданье ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина... Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь — ее все нет. Потом наконец звонок — и она, во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что лихача взяла, голодна ужасно...»

Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоялый двор старика-вдовца, мещанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст,— надо перегодить, подумал Красильщиков, лошадь вся в мыле и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переезде к постоялому двору он на рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца.

— Дед! — громко крикнул он.— Принимай гостя!

Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой,— вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно,— сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирают, подумал он и, разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной грядой леса, еще гуще и мрачней чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя — и Красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу: опять никого, одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой темноте на потолке.

— Как подохли! — вслух сказал он — и тотчас услыхал скорый и певучий, полудетский голос соскользнувшей в темноте с нар Степы, дочери хозяина:

— Это вы, Василь Ликсеич? А я тут одна, стряпуха поругалась с папашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уехали по делу в город, вряд ли и вернутся нынче... Напугалась грозы до смерти, а тут, слышу, кто-й-то подъехал, еще пуще испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико:

— Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да, вишь, что делается, заехал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъехали?

Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой.

— Я сейчас лампу зажгу,— поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом.— Вас сам бог послал, что бы я тут делала одна,— певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяного кружка, стекло.

Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

— Погоди, не надо,— вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию.— Постой, повернись-ка на минутку ко мне...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе,— она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся:

— Еще пуще испугалась?

— Василь Ликсеич...— пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

— Погоди. Разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю.

— Лучше вас на свете нету,— выговорила она тихо и горячо.

— Ну вот видишь...

Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.

— Василь Ликсеич... за ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой на-

кошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно, молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: «А папаша в город уехали...» Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразу поймет — такой сухенький и быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна слежал до того часа, когда темнота избы стала светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкая девчонка...

Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

— Степа,— сказал он осторожно.— Мне пора.

— Уж едете? — прошептала она бессмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками:

— Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?

— Степа, я опять скоро приеду...

— Да ведь папаша будут дома,— как же я вас увижу! Я бы в лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!»

Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца, а она стояла на нарах на коленях и,

рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

— Василь Ликсеич... за ради Христа... за ради самого царя небесного, возьмите меня замуж! Я вам самой последней рабой буду! У порога вашего буду спать — возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсеич...

— Замолчи,— строго сказал Красильщиков.— На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?

Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза:

— Правда?

— Конечно, правда.

— Мне на Крещенье уж шестнадцатый пошел,— поспешно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске.

5 октября 1938

РУСЯ

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва — Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой местности на каникулах,— сказал он.— Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный,— хозяева были люди

обедневшие,— за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

— И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, — то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина — только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам,— оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.

— Тоже, значит, в русском стиле?

— Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы, сухие и жесткие, слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках — все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все

перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что же за имя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо ответил:

— Вероятно, и ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день.

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

— Да ничем. Уехал, и делу конец.

— Почему же ты не женился на ней?

— Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

— Нет, серьезно?

— Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни — подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда — и как страшно

испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:

— Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?

— Историю французской революции.

— Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!

— А что ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.

— А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.

— А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

— Вы страшно самолюбивы.

— Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:

— Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой...

День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно

нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! — бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темней, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да, она совсем еще девчонка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

— Правда хорошо? — крикнула она.

— Очень! — ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней:— Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пьявок.

Она положила картуз к себе на колени.

— Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестевшую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула — и лодка повалилась набок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой — он едва успел вскочить и поймать ее под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...

С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

— С первого дня нашей встречи!

— И я,— сказала она.— Нет, сначала ненавидела — мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее — мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил:

— А плед зачем?

— Какой глупый! Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и греби к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...

Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму. Она исступленно обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинув голову назад, и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками,— стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу...

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары — и летали, летали с таким треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги — и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате и истертых сафья-

новых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:

— Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее:

— Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза — все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой несся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это — перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли — как же он забыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на прибрежье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распустивши на влажной и теплой зелени прибрежья свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки,— даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки — у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали,

раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел — видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

— А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу,— ответил он, неприятно усмехаясь.— Дачная девица... Amata nobis quantum amabitur nulla![1]

— Это по-латыни? Что это значит?

— Этого тебе не нужно знать.

— Как ты груб,— сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

27 сентября 1940

ГЕНРИХ

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу — заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже тем-

---

[1] Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! *(лат.)*

нело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

— Отвезешь меня на Брестский.

— Слушаю-с,— ответил Касаткин.— За границу, значит, отправляетесь.

— За границу.

Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

— Охота пуще неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх,— вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет... в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути — кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром по дороге вдоль моря к Ницце то пролеты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно — жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук

в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

— Едешь?

— Еду, Надюша...

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

— Знаешь, я, слава богу, ночью заболела... Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?

— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой...

— А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!

— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

— Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:

— Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

— Ты у меня умница,— сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем — чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах.— Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

— Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

— На минутку... Нынче еще можно...

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

— Все-таки уезжаешь, негодяй,— безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком.— Погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.

— Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли,— как тебе не грех думать бог знает что.

— Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это бог знает что, я тебя серной кислотой оболью.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнущий каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

— Какой ты счастливый! — сказала Ли.— Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

— Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок...

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

— Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

— Ну что, напрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

— Начинаешь ревновать, Генрих?

— Не начинаю, я продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

— Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу оставить такую! А потом, ведь переношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.

— Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.

— Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.

Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив нога на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками:

— Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.

— Товарищи...— сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках.— Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно, как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

— А где ты был вчера вечером?

— Вечером? Дома.

— А с кем? Ну да бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон — Степы, Груши, их роковые очи...

— А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?

— Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

— Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...

— Ну, ну, опиши мне ее.

— Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша — плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь — как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами,— просто несчастье! Но идем обедать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

— Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!

— И одна совсем лишняя...

Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один,— сидел в ресторане, курил,— она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетеную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.

— А Ли? — сказала она.— А Маша?

———

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:

— Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции — и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеком»! Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выра-

зить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

— А у Ли,— спросила Генрих,— груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.

— Да.

— Она глупа?

— Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.

— Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...

— А почему не в Ниццу?

— Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное — поедем вместе!

— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто...» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, в какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками,

страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах и красных шерстяных чулках...

— Ох, уж мне эти поэты! — сказала она с ласковым зевком.— И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало — вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей — и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

— Генрих, что ты? — сказал он.

— Не знаю. милый,— ответила она тихо.— Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки...

— Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрияка к черту и поедем дальше.

— Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь,

в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения — ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...

— Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.

— Генрих, я не узнаю тебя.

— И я себя. Но иди, иди ко мне.

— Погоди...

— Нет, нет, сию минуту!

— Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?

— Нынче вечером, нынче же вечером!

Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.

И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восставших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в закончен-

ную пасть туннеля. Потом — все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале — одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня — вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного. Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр — телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «Pas de lettres, monsieur, pas de télégrammes»[1]. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на

[1] Нет писем, сударь, нет телеграмм *(франц.)*.

набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:

«Ну и черт с ней. Все понятно».

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике — ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же:

«Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете так не любил, как ее, что бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю,— возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение — дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!»

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдали направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

— Pas de télégrammes?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак,— упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет

«Натали»

в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три часа ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным — конечно, наигранным — взглядом косо склоненного из-под широкополой шляпы лица... Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем,— выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего... старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу — прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины... запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад...

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянцем, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «Journaux étrangers!»[1] — крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния:

«Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане «Franzensring» известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом «Генрих».

10 ноября 1940

---

[1] Иностранные газеты! *(франц.)*

НАТАЛИ

I

В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерский, в монахи!» В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть, как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики, и, в силу этого решения, да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью:

— Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!

— Ну, уж на этот раз никак не по своей вине,— ответил я.— Опоздал не молодой человек, а поезд.

— Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно, оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком, Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась, одна я оказалась терпелива и верна тебе... Ну, раздевайся и пойдем ужинать.

Я ответил, любуясь ее синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

— Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно — ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет!

Она засмеялась:

— Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

— Да кто это Натали? — спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами.

— Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные, и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего.

— Чего прочего? — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

— А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться — советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа...

На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного крымского вина.

— Не прогневайся, больше ничего нет,— сказала она, садясь и наливая вина мне и себе.— И водки нет. Ну, дай бог, чокнемся хоть вином.

— А что именно дай бог?

— Найти мне поскорей такого жениха, что пошел бы к нам «во двор». Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу: с кем же останется папа?

— Ну, дай бог!

И мы чокнулись, и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилкой, стала как бы про себя говорить:

— Да, ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают.

— Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде...

И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив пол-

ное колено на колено, немного боком ко мне, под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые и мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара: на левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос.

— Ну, а что папа?

Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

— Папа, слава богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю... Только еще больше прежнего и еще настойчивее трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается,— сказала она и засмеялась.— Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном:

— Да, пока все слава богу. И прекрасное лето,— ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие — сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и наконец услыхать, что едут, погромыхивают бубенчики, подкатывают к крыльцу...

Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

— Вот ты говоришь Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, откуда?

— Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего... Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень

скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского, и Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом — богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

— Так,— сказал я.— Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

— Натали нашему роману все-таки не помешает,— ответила она.— Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать.

— Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

— Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подколодная, ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству.

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин,— такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых,— я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала:

— Только смотри теперь: завтра, при всех, не сметь пожирать меня «страстными взорами»! Избавь бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне...

Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что, когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже

при свете спички ясно увидал ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом, с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

II

В первый раз я видел Натали на другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула,— была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого,— и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе,— улан кончил раньше и ушел,— и, встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое,— особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка,— покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню улана. Зная, что он встает летом часов в пять, постучался. Никто не ответил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь: налево вся стена в дубовых книжных шкапах, между ними в одном месте высятся часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжевшим зеленым сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клещи, молотки, гвозди, медная подзорная труба; на стене возле двери, над стопудовым деревянным диваном, целая галерея выцветших портретов в овальных рамках; под окном письменный стол и глубокое кресло — то и другое тоже огромных размеров; правее, над широчайшей дубовой кроватью картина во всю стену: почерневший лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица,

чуть не в натуральную величину, стоящая вполуоборот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услыхал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившего ко мне из прихожей:

— Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроватям до трех дубов.

Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил:

— Каких дубов, дядя?

— Так мужики говорят,— ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными.— Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом»,— думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое и длинное, витое стебло круглой золотой старинной ложечки, я ел ломоть за ломтем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады браня и высмеивая их, я притворялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделось на месте: что это за Натали и как мы встретимся с Соней после вчерашнего? чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни... Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей,— отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника,— молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выспавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после сна щеках и этот смех за каждым словом, не совсем естественный

и тем более очаровательный... А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображение всегда было живо у меня, я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальне, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, наросшей на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями — и, вся странно видная в воде голубовато-меловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка...

— Ну, до обеда, ты ведь помнишь: обед в двенадцать,— отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном чесучовом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтоб выйти через соседнюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный: в самом деле, красавица! — и долго стоял так, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но когда наконец услыхал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад,— охватил какой-то страх не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос:

— Мы уже виделись!

Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы, и Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя куда-то, с усмешкой напевала: «Средь шумного бала, случайно...» Потом выпрямилась:

— Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне:

— Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо.

И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, а она, покосясь на дверь, тихо прибавила:

— Приду к тебе после обеда...

Когда они вернулись, пошел в купальню я — сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежья, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, о том, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они...

После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядело из сада в открытые окна,— небо, зелень, солнце,— после долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом на послеобеденное время и Соня (вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах) тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мне теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она в холстинковой юбочке и вышитой малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню! В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, к сухозолотистой коже которой прилегали рыжеватые волоски,—

я глядел и думал: что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающий на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, породистые щиколки в сером прозрачном чулке...

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты спал!» Я вскочил — что ты, что ты, мог ли я спать! — схватил ее руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она села на диван, закрывая глаза,— «Ну, иди ко мне»,— и мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркого тела, позволяла целовать себя уже всюду — только целовать — и все сумрачней закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

— А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым.

III

Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно-страстных свиданий с ней по ночам,— она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал,— и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком: встречи утром, купанье перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад,— они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой тенистой поляне, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом,— я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня,— в сумерки ужин в столовой... После ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» —

и, простясь с ними, я шел к себе, с холодеющими руками ждал того заветного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне:

— Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и небось наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцепиться при всех тебе в волосы, да что же мне делать?

Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване:

— А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она резко взглянула на меня:

— Как это?

— Мой кузен, Алексей Николаич Мещерский...

Она не дала мне договорить:

— Ах, вот что! Ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

— Натали, Натали, за что вы так строги ко мне! Даже пошутить нельзя! Ну простите меня,— сказал я, беря ее руку.

Она не отняла руки и сказала:

— Я до сих пор не понимаю... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видеть ее томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

— Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

— Что?

— Вздохните — какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!

Она помолчала.

— Да.

— Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?

Она гордо пожала плечом:

— Что и почему я могу иметь против вас?

Вечером, лежа в темноте в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали,— звезды только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны реки вялым ветром, так дремотно журчали лягушки.

— К дождю, спать хочется,— сказала Соня, подавляя зевок.— Нянька сказала, народился молодой месяц и теперь с неделю будет «обмываться».— И, помолчав добавила:— Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали откликнулась из темноты:

— Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки.

Соня подумала:

— Ну, и девушки бывают разные...

И решительно встала:

— Нет, спать, спать!

— А я еще подремлю тут, мне ночь нравится,— сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони:

— Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами!

Она ответила:

— Да, да, мы нехорошо говорили...

На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда

стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете улана, мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилегавшие к ней выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал:

— Ну теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее грудей, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берез, красновато-серый дятел...

— Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы...

Она продолжала читать.

— Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

— Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела... Не мешайте читать.

Я помолчал, потом снова:

— Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.

— Что, где?

Я указал на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет:

— Правда?

И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья:

— Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:

— Но вы же любите Соню!

Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

— Это неправда?

— Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства!

IV

На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.

— Соня, что с Натали? — спросил улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись:

— Лежит все утро в распашонке, нечесаная, по лицу видно, что ревела, принесли ей кофе — не допила... Что такое? «Голова болит». Уж не влюбилась ли!

— Очень просто,— сказал улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой.

Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки черные, на высоких каблучках,— я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал «Исторический вестник», несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью:

— Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

— Как? То вы, то она?

— У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

— До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! — сказал я. И вдруг спросил, краснея:— Вы вчера мне поверили?

Она тоже покраснела — тонко и ало — и отвернулась:

— Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам... и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:

— Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

— Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?

— Ты глуп!

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони!

С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали — я никогда еще не видал ее такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик-повар и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнущей мечтой: не навек же я связан с Соней, не век же мне — да и Натали — гостить тут, через неделю-другую я все равно должен буду уехать — и тогда конец моим мучениям... найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно,— разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и ее?— но что же делать, этого, рано или поздно, все равно не избежишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее — терпеть, терпеть до поры, до времени. Я страдал, скучал,— как нарочно, дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи,— но крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы...

Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:

— Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное... Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось и как сладко пахнет цветами...

Я, втайне раздражаясь, отвечал:

— Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по руке:

— Не смей возражать больной!

Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христя понесла со стола самовар в поварскую:

— Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.

— Я скучаю только без вас,— ответил я.— Когда вас нет...

Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:

— Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчет месяца, слава богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

— Соне меня жаль, а вам? Нисколько?

— Страшно жаль,— ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду.— Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, блестела половина его, не сулившая ничего доброго: как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вместе напоминало желудь.

За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко,— я сказал улану:

— Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.

— Почему, мой друг?

— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

— Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

— Вы собираетесь уезжать?

Я притворно засмеялся:

— Не могу же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

— Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.

— Я не имею никаких прав на Виталия Петровича,— сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

— Дядя, запретите Натали называть меня так!

Улан хлопнул ладонью по столу:

— Запрещаю. И довольно болтать о твоем отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

— В поле было уже слишком чисто, ясно,— сказал я.— И месяц очень чист и похож на желудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:

— Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс...

В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая: все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные... Молодой месяц играл все выше и ярче в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

— Вы еще не спите?

— Но вы же мне сказали...

— Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.

Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой

аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Как волшебно блестят вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине...

Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами:

— Вы правда уезжаете?

— Да, пора.

— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.

— Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.

— Натали...

— Да, да, я вас люблю,— сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней.

— Уезжайте завтра же,— сказала она на ходу, не оборачиваясь.— Я вернусь домой через несколько дней.

V

Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно свершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты — я увидал это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, и делавшее огромными и видимыми до послед-

него переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшееся густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот:

— Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь...

Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.

— Или нет, нет, не надо,— поспешно сказала она,— иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь...

Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала:

— Ну поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана.

В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидала нас, но все-таки бессознательно крикнула:

— Соня, где ты? Я страшно боюсь...

И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.

VI

Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.

В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил Святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился,— во всяком случае, привык к тому

состоянию душевнобольного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все.

Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе,— и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком, и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя с таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах,— хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом

весело предложил им по бокалу — Gaudeamus igitur![1]— остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:

— Ой, но вы и так страшно бледный!

Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце...

И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного: «Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара». Отец перекрестился и сказал:

— Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль — вдова в такие годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал,— он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне,— но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ехать тебе...

Отказаться было нельзя,— в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.

Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах,— и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего — полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце, у настежь раскрытых в сени дверей, стоймя прислонена была к стене большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком

[1] Будем веселиться! *(лат.)*

холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью — как вступить в этот дом, вновь увидать ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей,— вошел под возгласы и пение священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее,— впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос,— и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное,— там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:

— Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, после отпевания и погребения, я немедля уехал.

Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.

VII

Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский — маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажи, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь». Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: «Вот и все, что осталось мне в жизни!» И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила,— маленького, черненького мальчика,— и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:

— Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду,— сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь.— Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.

Я посмотрел на нее — ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет... Влюбиться, жениться — этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченой жизни.

Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали — и подумал: да, та любовь «до гроба», которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу... И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: «Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как вы поживаете».

Она встретила меня на крыльце,— сзади нее светила лампой горничная,— и с полуулыбкой протянула мне обе руки:

— Я страшно рада!

— Как это ни странно, вы еще немного выросли,— сказал я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки: черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи.

— Да, я все еще расту,— ответила она, грустно улыбаясь.

В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник:

— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?

— Возвращаюсь из Парижа.

— Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить.

— Ах, пожалуйста!

Я закурил и сказал:

— Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной, не обращайте на меня особого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — ведь все, что было, быльем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение — оно теперь бескорыстно и спокойно...

Она склонила голову и ресницы,— к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть,— и лицо ее стало медленно розоветь.

— Это совершенно точно,— сказал я, бледнея, но крепнущим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду.— Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлич-

на и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.

— Гибелью?

— А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она помолчала.

— Я видела вас на балу в Воронеже... Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц.— Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне?

Я с усилием спросил:

— Значит, вы тогда меня еще любили?

— Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

— Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

— Это не любовь,— сказал я.— Страшная жалость, нежность, но и только.

— Расскажите мне все.

И я рассказал все — вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне «поехать, пожить в свое удовольствие». И кончил так:

— Теперь вы видите, что я всячески погиб...

— Полноте! — сказала она, думая что-то свое.— У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.

— Не в браке дело,— сказал я.— Бог мой! Мне жениться!

Она в раздумье посмотрела на меня:

— Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?

И положила руку на руку мне:

— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена...

Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно... И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестевшем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:

— В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.

— Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее...

— Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.

— Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?

— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

— Да, да.

— А потом ты на балу — такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте,— как хотел я умереть в ту ночь

в восторге своей любви и погибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.

— И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко — разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?

В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.

4 апреля 1941

РЕЧНОЙ ТРАКТИР

В «Праге» сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою асмоловскую «пушку» и, закуривая, сказал:

— Да, все Дума да Дума... Не выпить ли нам коньяку? Грустно что-то.

Я принял это в шутку, человек он был характера спокойного и суховатого (крепкий и сильный сложением, к которому очень шла военная форма, жестко рыжий, с серебром на висках), но он серьезно прибавил:

— От весны, должно быть, грустно. К старости, да еще холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите, как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи? Кстати, закроем-ка окно, неуютно,— сказал он, вставая.— Иван Степаныч, шустовского...

Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку и из горячей чашечки:

— Тут еще вот что — некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой,

маленькой девицей, похожей на бедную курсисточку, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метрдотелю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест,— место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено,— потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречаюсь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами,— я ими тоже интересуюсь и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и наслышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами. Все это-то и навело меня на воспоминания. Расскажу вам одно из них, вызванное именно им, благо оркестр уходит и можно посидеть спокойно...

Он уже покраснел от водки, от кахетинского, от коньяку, как всегда краснеют рыжие от вина, но налил еще по рюмке.

— Я вспомнил,— начал он,— как лет двадцать тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города некий довольно молодой военный врач, то есть, попросту говоря, я самый. Шел по пустякам, чтобы бросить какое-то письмо в почтовый ящик, с тем беззаботным благополучием в душе, что иногда испытывает человек без всякой причины в хорошую погоду. А тут как раз погода была прекрасная, тихий, сухой, солнечный вечер начала сентября, когда на тротуарах так приятно шуршат под ногами опавшие листья. И вот, что-то думая, случайно поднимаю я глаза и вижу: идет впереди меня скорым шагом очень стройная, изящная девушка в сером костюме, в серенькой, красиво изогнутой шляпке, с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой перчаткой. Вижу и чувствую, что что-то мне в ней ужасно нравится, а кроме того, кажется несколько странным: почему и куда так спешит? Удивляться, казалось бы, нечему — мало ли бывает у людей спешных дел. Но все-таки это почему-то интригует меня. Бессознательно прибавляю шагу и себе, почти нагоняю ее — и, оказывается, не напрасно. Впереди, на углу, старая низкая церковь, и я вижу, что она направляется прямо к ней, хотя день будничный и такой час, когда никакой службы по церквам еще нет. Там она взбегает на паперть, с трудом отворяет тяжелую дверь, а я опять за ней и, войдя, останавливаюсь у порога. В церкви

пусто, и она, не видя меня, скорым и легким шагом идет к амвону, крестится и гибко опускается на колени, закидывает голову, прижимает руки к груди, уронив зонтик на пол, и смотрит на алтарь тем, как видно по всему, настойчиво молящим взглядом, каким люди просят божьей помощи в большом горе или в горячем желании чего-нибудь. В узкое с железной решеткой окно слева от меня светит желтоватый вечерний свет, спокойный и будто тоже старинный, задумчивый, а впереди, в сводчатой и приземистой глубине церкви, уже сумрачно, только мерцает золото кованных с чудесной древней грубостью риз на образах алтарной стены, и она, на коленях, не сводит с них глаз. Тонкая талия, лира зада, каблучки уткнувшейся носками в пол легкой, изящной обуви... Потом несколько раз прижимает платочек к глазам, быстро берет с полу зонтик, точно решившись на что-то, гибко встает, бежит к выходу, внезапно видит мое лицо — и меня просто поражает своей красотой ужаснейший испуг, вдруг мелькнувший в ее блестящих слезами глазах...

В соседней зале потухла люстра,— ресторан уже опустел,— и доктор взглянул на часы...

— Нет, еще не поздно,— сказал он.— Всего десять. Вы никуда не спешите? Ну так посидим еще немного, я доскажу вам эту довольно странную историю. Странно было в ней прежде всего то, что в тот же вечер, то есть, вернее, поздно вечером, я опять встретил ее. Мне вдруг вздумалось поехать в летний трактир на Волге, где я был всего два-три раза за все лето, да и то только затем, чтобы посидеть на речном воздухе после жаркого дня в городе. Почему я поехал именно в этот уже свежий вечер, бог ведает: словно руководило мною что-то. Можно, конечно, сказать, что вышла простая случайность: поехал человек от нечего делать, и нет ничего удивительного в новой случайной встрече. Разумеется, все это вполне справедливо. Но почему же вышло и другое, то есть то, что я встретил ее черт знает где и что вдруг оправдались какие-то смутные догадки и предчувствия, испытанные мной, когда я в первый раз увидал ее и ту сосредоточенность, какую-то тайную тревожную цель, с которой она шла в церковь и там так напряженно и молча, то есть чем-то самым главным, самым подлинным, что есть в нас, молила о чем-то бога? Приехав и совсем забыв о ней, я долго и скучно сидел один в этом речном кабаке, очень дорогом, кстати сказать, известном своими купеческими ночными кутежами, нередко тысячными, и без всякого вкуса глотал от времени до времени жигулевское пиво, вспоминая Рейн и швейцарские

озера, на которых был летом в прошлом году, и думая о том, как вульгарны все провинциальные русские места загородных развлечений, в частности, и приволжские. Вы бывали в приволжских городах и в подобных трактирах на воде, на сваях?

Я ответил, что Волгу знаю мало, на поплавках там не бывал, но легко представляю себе их.

— Ну, конечно,— сказал он.— Русская провинция везде довольно одинакова. Одно только там ни на что не похоже — сама Волга. С ранней весны и до зимы она всегда и всюду необыкновенна, во всякую погоду, и что днем, что ночью. Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоят три его стены, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух, смотришь прямо в темноту, в черноту ночи, и как-то особенно чувствуешь все это дикое величие водных пространств за ними: видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, перекличку мужицких голосов на них или на баржах, на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких пароходных гудков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков, вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова — Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалынск — и страшные орды грузчиков на их пристанях, потом всю несравненную красоту старых волжских церквей — и только головой качаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь! А посмотришь вокруг — что это, собственно, такое, этот трактир? Свайная постройка, бревенчатый сарай с окнами в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но нечистыми скатертями с тяжелыми дешевыми приборами, где в солонках соль перемешана с перцем и салфетки пахнут серым мылом, дощатый помост, то есть балаганная эстрада для балалаечников, гармонистов и арфянок, освещенная по задней стене керосиновыми лампочками с ослепительными жестяными рефлекторами, желтоволосые половые, хозяин из мужиков с толстыми волосами, с медвежьими глазками — и как соединить все это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь на тысячу рублей мумму и редереру! Все это, знаете, тоже Русь... Но не надоел ли я вам?

— Помилуйте! — сказал я.

— Ну так позвольте кончить. Я все это клоню к тому, в каком похабном месте вдруг опять встретил я ее во всей ее чистой, благородной прелести, с каким спутником! К полночи трактир стал оживать и наполняться: зажгли под потолком

огромную и страшно жаркую лампу, лампы по стенам, лампочки на стене за помостом, вышел целый полк половых, повалила толпа гостей: конечно, купеческие сынки, чиновники, подрядчики, пароходные капитаны, труппа актеров, гастролировавших в городе... половые, развратно изгибаясь, забегали с подносами, в компаниях за столами пошел галдеж, хохот, поплыл табачный дым, на помост вышли и в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубахах, в чистеньких онучах и новеньких лаптях, за ними вышел и фронтом стал хор нарумяненных и набеленных блядчонок, одинаково заложивших руки за спину и резкими голосами, с ничего не выражающими лицами подхвативших под зазвеневшие балалайки жалостную протяжную песню про какого-то несчастного «воина», будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена: «Ивво рад-ныи-и ни узнали-и, спроси-и-ли воина-а, кто ты-ы...» Потом вышел с огромной гармоньей в руках какой-то «знаменитый Иван Грачев», сел на стул у самого края помоста и тряхнул густыми, хамски разобранными на прямой ряд белобрысыми волосами: морда полотера, желтая косоворотка, расшитая по высокому вороту и подолу красным шелком, жгут красного пояса с длинно висящими махрами, новые сапоги с лакированными голенищами... Тряхнул волосами, уложил на поднятое колено гармонию-трехрядку в черных с золотом мехах, устремил оловянные глаза куда-то вверх, сделал залихватский перебор на ладах — и зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей, перебирая по ладам с удивительнейшими выкрутасами, да все громче, решительнее и разнообразнее, потом вскинул морду, закрыл глаза и залился женским голосом: «Я вечор в лужках гуляла, грусть хотела разогнать...» Вот в эту-то самую минуту и увидал я ее, и конечно, не одну: как раз в то время встал, чтобы позвать полового и заплатить за пиво, да и так и ахнул: отворилась снаружи дверь за помостом, и появилась она, в каком-то картузике цвета хаки, в непромокаемом пальто того жа цвета с поясом,— правда, хороша она была во всем этом удивительно, похожа на высокого мальчика,— а за нею, держа ее за локоть, некто небольшого роста, в поддевке и в дворянском картузе, темноликий и уже морщинистый, с черными беспокойными глазами. И, понимаете, я, что называется, света божьего невзвидел! Я узнал в нем одного моего знакомого, промотавшегося помещика, пьяницу, развратника, бывшего гусарского поручика, выгнанного из полка, и, ничего не соображая, не думая, кинулся вперед между столами так стремительно, что настиг его и ее почти при входе, — Иван

Грачев еще кричал: «Я цветочек там искала, чтобы милому послать...» Когда я подбежал к ним, он, взглянув на меня, успел весело крикнуть: «А, доктор, здравствуйте», в то время как она побледнела до гробовой синевы, но я оттолкнул его и бешено зашептал ей: «Вы, в этом кабаке! В полночь, с развратным пьяницей, шулером, известным всему уезду и городу!» Я схватил ее за руку, грозя изувечить его, если она сию же минуту не выйдет со мной отсюда вон. Он оцепенел — что ж он мог, зная, что я могу вот этими руками подковы ломать! Она повернулась и, наклонив голову, пошла к выходу. Я догнал ее под первым фонарем на булыжной набережной, взял под руку,— она не подняла головы, не освободила руку. За вторым фонарем, возле скамьи, она остановилась и, уткнувшись в меня, задрожала от слез. Я посадил ее на скамью, одной рукой держа ее мокрую от слез, милую, тонкую девичью руку, другой обнимая за плечо. Она несвязно выговаривала: «Нет, неправда, неправда, он хороший... он несчастный, но он добрый, великодушный, беззаботный...» Я молчал,— возражать было бесполезно. Потом кликнул проезжавшего мимо извозчика. Она стихла, и мы в молчании поднялись в город. На площади она тихо сказала: «Теперь пустите меня, я дойду пешком, я не хочу, чтобы вы знали, где я живу»,— и, вдруг поцеловав мне руку, соскочила и, не оглядываясь, неловко пошла вкось по площади... Больше я никогда не видел ее и так и не знаю до сих пор, кто она, что она...

Когда мы расплатились, оделись внизу и вышли, доктор дошел со мной до угла Арбата, и мы приостановились, чтобы проститься. Было пусто и тихо — до нового оживления к полночи, до разъезда из театров и ужинов по ресторанам, в городе и за городом. Небо было черно, чисто блестели фонари под молодой, нарядной зеленью на Пречистенском бульваре, мягко пахло весенним дождем, помочившим мостовые, пока мы сидели в «Праге».

— А знаете,— сказал доктор, поглядев кругом,— я жалел потом, что, так сказать, спас ее. Были со мной и другие случаи в этом роде... А зачем, позвольте спросить, я вмешивался? Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое... Ну, до свидания, очень рад был встретиться с вами...

27 октября 1943

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу,— были именины отца,— и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек,— мы знали какой,— и это было трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром,— ответил он.— Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой,— я вздумала раскладывать пасьянс,— он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь, пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет,— сказала я.— А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза,— сказал он.— Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером,— в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед,— и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня,— то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели,— я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой,— и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым

черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни — остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

3 мая 1944

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи,— в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды — оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер — от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него; каждый вечер я возил ее обедать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там к «Яру», в «Стрельну»... Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения — совсем близки мы все еще не

были; и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании — и вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее.

Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил: «Зачем?» Она пожала плечом: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история...» Жила она одна,— вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты»,— только одно начало,— на пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы,— по моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие,— и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: «Спасибо за цветы...» Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги — Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского,— и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему,— говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник,— но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату...» Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые, все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать»,— но сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже «непри-

лично красив», как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. «Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то»,— сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком; выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой: я это видел, заезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.

— Вы ужасно болтливы и непоседливы,— говорила она,— дайте мне дочитать главу...

— Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас,— отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже наконец рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней.

— Все так,— говорила она,— но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите...

— Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

— Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки, стоявшей

в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придет в голову:

— Вы дочитали «Огненного ангела»?

— *Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать.*

— А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?

— Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю.

— Все-то вам не нравится!

— Да, многое...

«Странная любовь!» — думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него... «Странный город! — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном.— Василий Блаженный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...».

Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем,— наследство моей астраханской бабушки, сказала она,— сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело... И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы — она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

— Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке:

— Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило. «Там видно будет!»— сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась

мне иногда невыносимой, но и тут — что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову:

— Нет, это выше моих сил! И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

— Да, все-таки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

— Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

— Я, я знаю! — воскликнул я.— И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

— Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

— Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем — о новой постановке Художественного театра, о новом рассказе Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад,— да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персия, Индия!» В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной челкой... Она слушала песни с томной, странной усмешкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра и послезавтра будет все то же, думал я,— все та же мука и все то же счастье... Ну что ж — все-таки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках.

— Все черное! — сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ее были ласковы и тихи.

— Ведь завтра уже чистый понедельник,— ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке.— «Господи владыко живота моего...» Хотите поехать в Новодевичий монастырь?

Я удивился, но поспешил сказать:

— Хочу!

— Что ж все кабаки да кабаки,— прибавила она.— Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище...

Я удивился еще больше:

— На кладбище? Зачем? Это знаменитое раскольничье?

— Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе: гроб — дубовая колода, как в древности, золотая парча будто кованая, лик усопшего закрыт белым «воздухом», шитым крупной черной вязью — красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями...

— Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!

— Это вы меня не знаете.

— Не знал, что вы так религиозны.

— Это не религиозность. Я не знаю что... Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: диаконы — да какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь,— то один хор, то другой,—и все в унисон, и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, слепит снег... Да нет, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу,— солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно

теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики,— она вдруг обернулась, почувствовав это:

— Правда, как вы меня любите! — сказала она с тихим недоумением, покачав головой.

Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом:

— Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра!

Стало темнеть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор.

— Поездим еще немножко,— сказала она,— потом поедем есть последние блины к Егорову... Только не шибко, Федор,— правда?

— Слушаю-с.

— Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать...

И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоедовском переулке; но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов,— прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещенные окна...

— Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель,— сказала она.

Я засмеялся:

— Опять в обитель?

— Нет, это я так...

В нижнем этаже в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы богородицы троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ее верхней губе был в инее, янтарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слилась с зрачком,— я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

— Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и богородица троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы — барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

— Могу, могу! — отвечал я.— И давайте закажем обед си́лен!

— Как это «си́лен»?

— Это значит — сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...»

— Как хорошо! Гюрги!

— Да, князь Юрий Долгорукий. «Рече Гюрги ко Святославу, князю Северскому: «Приди ко мне, брате, в Москову» и повеле устроить обед силен».

— Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь — вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры! А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Везде лужи, воздух уж мягкий, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины... Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодский, вятский!

Я хотел сказать, что тогда и я уйду или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волнения, но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

— Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

— К блинам что прикажете? Домашнего травничку? Икорки, семушки? К ушице у нас херес на редкость хорош есть, а к наважке...

— И к наважке хересу,— прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим светом в глазах:

— Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. «Был в русской земле город, названием Муром, в нем же самодержствовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд.

И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном...»

Я шутя сделал страшные глаза:

— Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

— Так испытывал ее бог. «Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили бога сей князь и княгиня преставиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одеяние...»

И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани:

— Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.

— Так что? — спросил я.— Вы хотите поехать на этот «капустник»?

— Да.

— Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!

— И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать.

Я мысленно покачал головой,— все причуды, московские причуды! — и бодро отозвался:

— Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно светло, все было зажжено,— люстры, канделябры по бокам зе́ркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом «Лунной сонаты» — все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей,— звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел — она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного, полного начала грудей, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полуколечками загибались к глазам черные лоснящиеся

косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.

— Вот если бы я была певица и пела на эстраде,— сказала она, глядя на мое растерянное лицо,— я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него...

На «капустнике» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице,— оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом:

— Царь-девица, Шамаханская царица, твое здоровье!

И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

— А это что за красавец? Ненавижу.

Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка — и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал:

— Дозвольте пригласить на полечку Транблан...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом:

Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать!

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

— Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном...»

Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем,— «какой-то светящийся череп»,— сказала она. На Спасской башне часы били три,— еще сказала:

— Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву...

Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала:

— Отпустите его...

Пораженный,— никогда не позволяла она подниматься к ней ночью,— я растерянно сказал:

— Федор, я вернусь пешком...

И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос.

— Вот все говорил, что я мало о нем думаю,— сказала она, бросив гребень на подзеркальник, и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне: — Нет, я думала...

На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза — она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:

— Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один бог знает...

И прижалась своей щекой к моей,— я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница.

— Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным све-

том. Шел пешком по молодому липкому снегу,— метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо — я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез.

— Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!

Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко — ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть бог даст сил не отвечать мне — бесполезно длить и увеличивать нашу муку...»

Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться — равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того чистого понедельника...

В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей,— стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами, поехал по Грибоедовскому переулку — и все плакал, плакал...

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:

— Нельзя, господин, нельзя!

— Как нельзя? В церковь нельзя?

— Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за ради бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч...

Я сунул ему рубль — он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые

на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер,— уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

12 мая 1944

Избранные стихотворения, рассказы и повести И. А. Бунина печатаются по тексту издания: И. А. Б у н и н. Собрание сочинений в девяти томах, издательство «Художественная литература», М., 1965—1967.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Большинство своих стихотворений Бунин написал в первую половину жизни. После 1916 года он пишет стихов все меньше и меньше; за последние тридцать лет жизни им не написано и полусотни стихотворений.

В 90-е—900-е годы в России вышло несколько стихотворных сборников Бунина, а также смешанных сборников, включающих прозу и стихи. Первый поэтический бунинский сборник — «Стихотворения 1887—1891 гг.» — вышел в 1891 году в качестве приложения к газете «Орловский вестник». Затем вышли сборники: «Под открытым небом», М., 1898 (книга стихов); «Стихи и рассказы», М., 1900; «Полевые цветы», М., 1901 (стихотворный сборник); «Листопад», М., 1901; «Новые стихотворения», М., 1902; «Стихотворения», СПб., 1903; «Стихотворения 1903—1906 гг.», СПб., 1906; «Стихотворения 1907 г.» (включавший также переводы Теннисона, Лонгфелло и Байрона), СПб., 1908; «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», СПб., 1910; «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», М., 1912. Стихотворения Бунин включал также в свои собрания сочинений — дореволюционное, издательства т-ва А. Ф. Маркса, и эмигрантское — «Петрополис»,— хотя для последнего собрания сочинений Бунин отобрал лишь незначительное количество своих стихотворений. При этом он не выделил их в отдельный том, а поместил в конце некоторых томов. Так же поступал он и со своими сборниками, вышедшими как в России, так и в эмиграции, включая в них рассказы и стихотворения: «Чаша жизни», М., 1915; «Господин из Сан-Франциско», М., 1916; «Храм солнца»,

Пг., 1917; «Начальная любовь», Прага, 1921; «Чаша жизни», Париж, 1922; «Роза Иерихона», Берлин, 1924; «Митина любовь», Париж, 1925. Отдельная небольшая книга стихотворений в эмиграции вышла лишь один раз: «Избранные стихи», Париж, 1929.

Бунин всю жизнь, несмотря на то, что с годами писал стихов все меньше и меньше, придавал своему поэтическому творчеству большое значение («Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем»,— говорил он) и прекрасно понимал (как и его последующие исследователи) тесную связь своей поэзии с прозой (см. прим., стр. 519). Тем не менее это обстоятельство не помешало Бунину в 1952 году, когда он придирчиво отбирал свои стихотворения, оставить за бортом немало прекрасных стихов, с чем сегодня не всегда можно согласиться.

«В темнеющих полях, как в безграничном море...» (стр. 43).— Стихотворение вошло в сборник «Под открытым небом», получивший в 1899 году высокую оценку М. Горького. «Читал и читаю стихи,— писал Горький Бунину.— Хорошие стихи, ей-богу! Свежие, звучные, в них есть что-то детски чистое и есть огромное чутье природы» (М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 28. М., 1954, стр. 68).

В степи (стр. 44).— *Н. Д. Телешов* (1867—1957) — писатель, находившийся с Буниным в дружеских отношениях многие годы.

Подражание Пушкину (стр. 46).— А. С. Пушкин был любимым поэтом Бунина с самых ранних лет, о чем Бунин вспоминал, в частности, в заметке «Думая о Пушкине» (1926): «Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я,— в самой ранней молодости подражал даже в почерке... Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что бог порою давал в жизни» (И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах, т. 9. М., 1967, стр. 454—455)[1].

«Как светла, как нарядна весна!..» (стр. 50).— На слова этого стихотворения написал музыку С. В. Рахманинов.

Листопад (стр. 50).—Эта поэма (в первой публикации стихотворение было названо «Осенняя поэма») принесла Бунину известность. В 1901 году вышла книга стихотворений Бунина под заглавием «Листопад». Поэма (и вся книга) очень понравилась Горькому, который в письме к Брюсову назвал Бунина «первым поэтом наших дней», а самому автору

[1] В дальнейшем ссылки на это собрание сочинений даются сокращенно: указываются лишь том и страница.

писал: «Хорошо! Какое-то матовое серебро, мягкое и теплое, льется в грудь со страниц этой простой, изящной книги. Люблю я... отдыхать душою на том красивом, в котором вложено вечное, хотя нет в нем приятного мне возмущения жизнью, нет сегодняшнего дня» (Цит. по кн.: И. Бунин, Стихотворения, Л., 1961, стр. 480). Александр Блок в статье «О лирике» (1907) писал: «Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько ценны и единственны в своем роде, что мы должны с его первой книги и первого стихотворения «Листопад» признать его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии» (А. А. Блок. Собрание сочинений в восьми томах, т. 5. М.— Л., 1962, стр. 141).

Ночь (стр. 58).— *Мемфис* — древняя столица Египта. *Понт* — древнегреческое название Черного моря.

Веснянка (стр. 60).— Можно предположить, что этим стихотворением Бунина впоследствии было навеяно блоковское стихотворение «В дюнах» (1907), написанное на ту же тему и тем же размером.

Одиночество («И ветер, и дождик, и мгла...») (стр. 63).— В статье «О лирике» (1907) А. Блок привел это стихотворение целиком, назвал «безупречным и единственным в своем роде» и отметил, что в нем сказался «однородный строй души» поэта Бунина с Полонским (там же, стр. 143).

Русская весна (стр. 66).— Одно из наиболее типичных стихотворений Бунина начала 900-х годов, о чем А. Блок писал так: «Все черты, свойственные Бунину, только укреплялись и становились отчетливей, и звезда его поэзии восходила медленным и верным путем. Такой путь очень идет к поэзии Бунина, которой полюбилась прежде всего природа. Так знать и любить природу, как умеет Бунин,— мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко, и красочные и слуховые его впечатления богаты. Мир его — по преимуществу — мир зрительных и слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний...» Говоря о том, что Бунину милее всего природа русской деревни, Блок пишет, что в стихах, посвященных русской природе, «...меньше внешнего разнообразия, но больше внутреннего богатства и раздумья». Он говорит о «гибкости языка» Бунина: «Появляются такие конкретные и необходимые слова, как: застреха, омет, привада, шлях... Появляются размеры, в которых плавно течет медленная мысль...» (там же, стр. 141, 143).

Стамбул (стр. 67).— *Стамбул* (Константинополь), столицу Турции, Бунин посетил впервые в 1903 г. и описал его в книге «Тень птицы». *Скутари* — азиатская часть Стамбула. *И пуст Сераль.* — Сераль — группа дворцовых зданий и садов на месте дворца византийских императоров; во время путешествия Бунина Сераль, покинутый султанами еще в начале XIX века, являл собою запущенное, заброшенное место. «...Совершенное безлюдье царит у высоких ворот Старого Сераля, при входе в его

запущенные сады и широкие дворы, заросшие травою и белеющие обломками греческих колонн, статуй и надгробных плит»,— писал Бунин (т. 3, стр. 326).

Гробница Сафии (стр. 69).— *Сафия* — одиннадцатая жена Магомета, еврейка-пленница; была выкуплена Магометом, пораженным ее красотой. *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданелльского пролива. *Тюрбэ* — усыпальница на Востоке, сооружавшаяся для знатных людей.

Эсхил (стр. 69).— *Эсхил* (525—456 до н. э.) — великий древнегреческий поэт-трагик. *Адрастея* — богиня возмездия.

Священный прах (стр. 71).— *Гавриил* — в мусульманской религии ангел-посредник между богом и пророками; *пыль*, по которой он ступал, по вере мусульман, способна оживлять неодушевленные предметы.

Зейнаб (стр. 71).— *Хамсин* — душный сухой ветер.

«Геймдаль искал родник божественный...» (стр. 72).— *Геймдаль* — в скандинавской мифологии «страж богов»; он обладал даром слышать, как растет трава.

Джордано Бруно (стр. 72).— *Джордано Бруно* (1548—1600) — великий итальянский ученый-астроном. *Простите, келий сумрачные своды.*— Бруно был монахом, затем получил сан священника; обвиненный в ереси, бежал из монастыря. *Капище* — языческий храм. *Мы остановим солнце Птолемея.*— По учению древнегреческого астронома Птолемея, которое опроверг Бруно, солнце вращалось вокруг земли. *Идет в огонь.*— Бруно был сожжен церковниками на костре.

Храм Солнца (стр. 74).— *Храм солнца* — развалины древнего храма в Баальбеке (Сирия), городе сирийского божества солнца Ваала. Бунин посетил Баальбек 5 и 6 мая 1907 г., совершая свое путешествие на Ближний Восток. «Храм Солнца» описан в одноименной главе книги «Тень птицы»: «...над садами и над крепостными руинами, тонувшими в них, стройно и державно возносились шесть желтоватых колоссов Великого храма... На запад тянулись по долине руины... Всё подавляли колонны Великого храма. Верх одной из них — крайней справа — был уже почти свободен от архитрава. Скоро она рухнет, подумал я, и рухнет ужасно! Ведь в одном фундаменте акрополя пятнадцать аршин высоты, но колонны стоят не на нем: для Великого храма был воздвигнут еще другой фундамент, высотой почти равный первому. А в самих колоннах росту аршин сорок! Некогда перистиль храма — окружавшая его колоннада — состоял из пятидесяти четырех таких колонн. Теперь их только шесть... И как одиноки они!.. величие этих колонн, одиноких «наследников дней героев», было ни с чем не сравнимо» (т. 3, стр. 402). *Талес* — молитвенное облачение у евреев. *Номад* — кочевник-скотовод.

Иерихон (стр. 76).— *Иерихон* — древний город в Иудее, находящийся к северу от Мертвого моря, еще в древности пришедший в упа-

док. Бунин видел Иерихон, путешествуя на Ближний Восток в 1907 г. «На севере, в глубине бесконечных извилистых долин,— Иерихон. Маленьким оазисом темнеет он в пустыне, у слоистого подножья Иудейских гор» (т а м ж е, стр. 374).

Х у д о ж н и к (стр. 76).— В стихотворении зарисован А. П. Чехов в своем ялтинском доме. Бунин, очень любивший Чехова, часто бывал там. *Да-с, водевиль...*— слова Репетилова из комедии Грибоедова «Горе от ума».

С о б а к а (стр. 77).— «Это было на Капри, у Горьких. У них была сибирская белая собака... и она всегда лежала у ног кого-нибудь, иногда у ног Ивана Алексеевича—это было в 1909 году, март—апрель»,—вспоминает В. Н. Муромцева-Бунина («Новый мир», 1969, № 3, стр. 225).

З о в (стр. 78).— Стихотворение представляет собою сокращенное и вольное переложение стихотворения Ш. Бодлера «Le voyage» («Путешествие»).

П с к о в с к и й б о р (стр. 79).— Это стихотворение Бунин приводит в своей статье 1926 года «Думая о Пушкине», предпосылая ему следующие слова: «А вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас» (т. 9, стр. 455).

Л е т н я я н о ч ь (стр. 79).— Стихотворение автобиографично: поэт вспоминает, как он в детстве просил мать, «когда она его убаюкивала, сидя на балконе, перед сном, дать ему поиграть со звездой, которую он уже запомнил, видя ее из своей кроватки» (В. Н. М у р о м ц е в а - Б у н и н а. Жизнь Бунина, Париж, 1958, стр. 9) [1].

П о т о м к и п р о р о к а (стр. 80).— *Потомки пророка* — то есть потомки Магомета, мусульмане. *Ты в зеленом...*— Зеленый цвет у мусульман считается священным.

З а в е т С а а д и (стр. 81).— *Саади* (1184—1231) — великий персидский поэт; его творчество Бунин очень любил и часто к нему обращался. «В пути со мною,— писал он о своем путешествии в Турцию в 1903 г.,— Тезкинрат Саади, «усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского»... Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество» (т. 3, стр. 314—315).

П о м п е я (стр. 85).— В стихотворении Бунин воскрешает впечатления от своей поездки в Италию в 1909 г. «В Помпее поразили нас,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— очень глубокие колеи при входе

---

[1] Далее ссылки на книгу воспоминаний вдовы писателя приводятся сокращенно: «Жизнь Бунина», указывается страница книги.

в этот мертвый город» (А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии. М., 1967, стр. 130)[1]. Сам писатель впоследствии связывал стихотворение «Помпея» со своим ощущением Пушкина: «А вот Помпея, и опять почему-то со мной он (Пушкин.— *А. С.*), и я пишу воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем»,— и далее Бунин приводит это стихотворение (т. 9, стр. 455). *Помпея* — город в Италии, погибший в 79 г. при извержении вулкана Везувий.

Голубь (стр. 86).— *Голубь* — в древнегреческой мифологии всегда сопровождал *Киприду* (Афродиту), богиню любви.

Свет незакатный (стр. 87).— «И[ван] А[лексеевич] говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры, и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как «Свет незакатный»... говорит, что они нечто общее, навеянное извне»,— писала Г. А. Кузнецова (Г. Кузнецова. Грасский дневник. Вашингтон, 1967, стр. 39) [2].

«О радость красок! Снова, снова...» (стр. 88).— «Я всегда повторяю: ничто не дает такого наслаждения, как краски,— говорил Бунин в десятые годы.— Я привык *смотреть*, художники научили меня этому искусству» (цит. по сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 240).

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...» (стр. 92). — В 1928 году, работая над третьей книгой «Жизни Арсеньева», Бунин начал ее этим стихотворением. В черновом варианте третьей книги, в частности, были такие слова: «Родиться, жить и умереть в одном и том же, в родном доме...» А я — сколько домов переменил я на своем веку? И эта чужая страна, уже много лет заменяющая мне родину, последнее ли это мое прибежище?» (И. А. Бунин. Повести, рассказы, воспоминания. М., 1961, стр. 617). *У птицы есть гнездо, у зверя есть нора* — перефразировка слов Христа из Евангелия: «Лисицы имеют норы, а птицы небесные —гнезда; а сын человеческий не имеет где приклонить голову».

РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ

Антоновские яблоки (стр. 97).— Этот рассказ — самое сильное и характерное произведение из всего написанного Буниным до «Деревни». Он принес Бунину известность и был встречен многочисленными критическими отзывами. Как правило, отзывы критики были поверх-

[1] В дальнейшем ссылки на эту книгу приводятся сокращенно: «И. А. Бунин», указывается страница книги.

[2] В дальнейшем ссылки на книгу воспоминаний писательницы Галины Кузнецовой, близкого друга Бунина, приводятся сокращенно: «Грасский дневник», с указанием страницы книги.

ностны и шаблонны, и благодаря им, начиная с рассказа «Антоновские яблоки», к Бунину прочно прикрепился ярлык воспевателя и оплакивателя «дворянских гнезд», певца увядания и запустения. Сам Бунин так вспоминал в 1915 году о первом десятилетии своей литературной деятельности: «Большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку... но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего («певец осени, грусти, дворянских гнезд» и т. п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я. А между тем человек-то был я как раз не тишайший... во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда» (т. 9, стр. 264—265).

В рассказе «Антоновские яблоки» запечатлен стародворянский усадебный быт и уклад, прекрасно знакомый Бунину по нескольким имениям, с которыми были связаны его детство и юность: Васильевскому (имению двоюродной сестры Бунина Софьи Николаевны); Бутыркам (хутор Елецкого уезда, последнее имение Буниных); Озёркам — имению матери Бунина. Это точное знание и поразительное умение пластически, словно как бы в ритме той же неспешной провинциальной жизни, передать виденное в слове,— по достоинству оценил М. Горький, с восхищением отозвавшийся о рассказе: «Это хорошо. Тут Иван Бунин, как молодой бог, спел. Красиво, сочно, задушевно» («Горьковские чтения», М., 1961, стр. 16).

Стр. 101. *Склад средней дворянской жизни... очень недавно имел много общего со складом богатой мужицкой жизни...*— «Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас»,— говорил Бунин несколькими годами позже (т. 9, стр. 537). На эту тему он написал повесть «Суходол».

Стр. 103. *...моего покойного шурина Арсения Семеныча.*— Прототипом Арсения Семеныча послужил Алексей Иванович Пушешников, муж двоюродной сестры Бунина Софьи Николаевны. «Высокий, красивый, никогда ничего не читавший, страстный охотник, веселый общительный человек с прекрасным голосом», Алексей Иванович «ему нравился и своей удалью, и красотой цыганского типа, и очень приятным голосом, и тем родственным чувством, с каким он относился ко всей его семье. Бывал он с ним и на охоте, когда Алексей Иванович был очарователен в своей несколько дикой красоте и отваге» («Жизнь Бунина», стр. 23, 37).

Стр. 106. «*Дворянин-философ*» — псевдоним Ф. И. Дмитриева-Мамонова (1728 — ок. 1790).

Стр. 107. «*Тайны Алексиса*» — роман французского писателя Дюкре-Дюмениля (1761—1819) «Алексис, или Домик в лесу»; издан в Москве в 1794 г.

«*Виктор, или Дитя в лесу*» — роман того же писателя; на русском языке вышел в 1799 г. Романтическое пристрастие Бунина к «любимым старинным словам», к забытым книгам, к ушедшему в прошлое укладу жизни было свойственно ему всю жизнь и отразилось, в частности, в рассказе «Божье древо».

Наступает царство мелкопоместных.— О жизни мелкопоместного дворянства Буниным были написаны в 1891 г. очерки «Мелкопоместные. Из жизни елецких помещиков», которые тематически предварили рассказ «Антоновские яблоки».

Д е р е в н я (стр. 109).— Повесть «Деревня» — вершина дореволюционного творчества Бунина. Этой повестью, произведшей настоящую бурю в литературном мире, Бунин нажил себе врагов, которые не устанут впоследствии повторять, что он — холодный и злобный писатель, оклеветавший крестьянскую Россию и не желающий увидеть в ней ничего светлого, положительного. Между тем «Деревня» создавалась Буниным с такой страстью и муками, с какими он вряд ли что-нибудь писал. Работавший всегда неспешно, с величайшим тщанием шлифуя каждое слово, Бунин написал эту большую повесть в два стремительных приема. Первая часть была начерно написана чуть ли не в три дня, как утверждает В. Н. Муромцева-Бунина, и окончена в сентябре 1909 года, вторая — после перерыва — писалась в конце лета 1910 года «часов по пятнадцати в сутки, боясь оторваться даже на минуту»; Бунин, по собственному признанию, порою доходил до сердечных припадков, «до ледяного пота, почти до потери сознания» («Горьковские чтения», М., 1961, стр. 48).

Видимо, писатель и сам не подозревал, начиная «Деревню», во что выльется его замысел. В ответ на вопрос, заданный уже в эмиграции, с чего началось писание «Деревни», Бунин ответил неопределенно: «Да так... захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в четыре дня. И на год бросил.— А вторая часть? — А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву почему-то в июне. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут и получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал...» («Грасский дневник», стр. 194).

Бунин с детства хорошо знал деревню. «Надо было жить в деревне круглый год, близко общаться с народом,— писала В. Н. Муромцева-Бунина,— чтобы все воспринять, как воспринял он своим редким талантом... У него с самого раннего детства... были друзья, сначала среди ребятишек, а потом из деревенской молодежи, с которыми он коротал много времени, бывая запросто в их избах, знал до тонкости крестьян-

ский язык. Оскудение помогло ему глубоко вникнуть в натуру русского мужика» («Жизнь Бунина», стр. 47). «В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имею возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса»,— заявил Бунин в интервью 1911 г. (т. 9, стр. 536).

Своим знанием народной жизни Бунин всегда справедливо гордился, считая его первостепенным долгом каждого мыслящего человека, в первую очередь — историка, писателя. Выражая недовольство историческими трудами Ключевского, он говорил негодующе: «Там есть все, что угодно, но нет главного — каков был русский народ, как он жил, каков был его нравственный уклад и т. д.» (цит. по сб.: «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 249). А Леониду Андрееву, который, прочтя его «Деревню», сказал, что ненавидит ее, ответил: «Я знаю, какие тебе мужики нужны. Тебе Платона Каратаева подавай, мистических скифов, богоносцев! А у меня таких нет» (т а м ж е, стр. 251).

Накануне появления «Деревни» в печати Бунин дал некоторые пояснения к повести (в связи с тем, что в газете «Утро России» было помещено не совсем точное ее изложение): неверно,— говорил он,— «что Красов «замешан из того же теста, что и чеховский Лопахин»... Лопахин — купец; Красов — мужик. Благополучие свое он основал не столько — как то полагает автор статьи — на развалинах разорившейся дворянской усадьбы «Дурновки», сколько, главным образом,— на деревенской бедноте. Неверно также и указание на тоску Тихона, явившуюся якобы следствием отсутствия у него личного счастья... Такой тоски у него нет. Есть тоска будней — тоска очень грязной, обыденной жизни... Слишком банален был бы этот тип внезапно затосковавшего мироеда, и я вовсе не хотел выводить такой тип... Тихон, правда, пьет... Но пьет потому, что все кругом пьют, тоскует потому, что нельзя не тосковать в буднях русской жизни... Повесть моя представляет собою картины деревенской жизни, но, кроме жизни деревни, я хотел нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни... И Красов — типичный русский человек... Неправильно понят также и один из остальных персонажей повести — Дениска... Определение «мечтатель» совершенно не подходит к этому персонажу... Это тип нового человека в деревне, тип, заключающий в себе черты и цинизма и застенчивости вместе... Но все это, повторяю, детали... Важное в этой повести, если хотите, не столько персонажи, даже сам Тихон Красов, сколько весь уклад, весь быт русской жизни...

Еще одно, с чем я никак не могу согласиться с автором статьи, это с его заключительной характеристикой моей повести. Так, автор говорит о ней как о произведении, «обвеянном легкой грустью и лирикой увядания и запустения». Это совершенно неверная характеристика. В действительности в «Деревне» ни грусти, ни лирики нет и в помине, как нет ни увядания, ни запустения. Мне кажется, что повесть моя написана очень просто,

очень объективно, очень реально, и заблуждение автора мне, признаюсь, непонятно. Хотя это уж так установлено, что критики и вообще пишущие о писателях — народ весьма консервативный в деле своего отношения и понимания физиономии писателя... Определили в начале его литературной деятельности каким-нибудь характерным для его творчества эпитетом, зафиксировали и успокоились навсегда... Так и по отношению ко мне... «Лирика увядания...» «Грусть запустения...» Все тот же «Листопад» — старое определение, которым, конечно, легче пользоваться, чем отыскивать новые...» («Новый мир», 1965, № 10, стр. 223—224).

Работа Бунина над «Деревней» во многом вдохновлена была его общением с Горьким, с которым он в ту пору был очень дружен. Бунин писал Горькому: «Вернулся к тому, к чему Вы советовали вернуться,— к повести о деревне». Были, нужно думать, между обоими писателями беседы и споры об «этой самой Руси и ее истории». В ту пору Горький пишет «Городок Окуров», который во многом перекликается с «Деревней», и «Исповедь», которую Бунин считал «самым крупным произведением Горького последних лет» (газ. «Одесские новости», 1910, 16 декабря). И естественно, что бунинская «Деревня» была встречена Горьким не просто восторженно, но с огромной глубиной понимания, что особенно отрадно было Бунину после целого потока поверхностной, демагогической, глухой к мысли и слову критики, сопровождавшей «Деревню». «...Множество достоинств вижу в повести этой,— писал Горький, читая «Деревню»,— волнует она меня — до глубин души. Почти на каждой странице есть нечто так близкое, столь русское — слов не нахожу достойных! Хороших кровей писатель Иван Бунин и — должен он беречь себя. Если надобно говорить о недостатке повести — о недостатке, ибо я вижу лишь один,— недостаток этот — густо! Не краски густы, нет,— материала много. В каждой фразе стиснуто три, четыре предмета, каждая страница — музей! Перегружено знанием быта, порою — этнографично, местно... Кузьма — впервые является в литературе нашей так резко очерченным и с «подлинным верно»,— до того верно, что я уверен, умный историк литературы будет опираться на Кузьму, как на *тип*, впервые данный столь определенно...» («Горьковские чтения», М., 1961, стр. 50). Прочитав повесть до конца, Горький написал Бунину: «Конец «Деревни» я прочитал — с волнением и радостью за Вас, с великой радостью, ибо Вы написали первостепенную вещь. Это — несомненно для меня: так глубоко, так *исторически* деревню никто не брал... Я не вижу, с чем можно сравнить Вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это —ново. *Так* еще не писали... Да, Вы написали мужественно, даже можно сказать — героически... Я почти уверен,— пророчески пишет далее Горький, предвидя драматическую судьбу повести в критике,— что московские и петербургские всех партий и окрасок Иваны Непомнящие и незнающие, кои делают

критические статьи для журналов,— не оценят «Деревни», не поймут ни существа, ни формы ее...

Но я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности — это должно быть или — мы пропали! — тогда серьезные люди скажут: «Помимо первостепенной художественной ценности своей, «Деревня» Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы еще не думали о России,— как о целом,— это произведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически» (т а м ж е, стр. 52—53).

Бунин был согласен с Горьким, что слишком «густа» «Деревня», и жаловался на критику. «То, что читал в Москве, Одессе,— глупо до непристойности. Да, провинциальная печать относится, кажется, живее и лучше, но и она передает содержание порою так, что глаза на лоб лезут» (письмо Бунина Горькому от 20 января 1911 г.— т а м ж е, стр. 57). «Прочитали кое-что из того, что писалось о «Деревне»... И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь»,— пишет он Горькому 20 апреля 1911 г., и дальше в этом же письме — о самом его раздражающем: «А то, что некоторые критики зачем-то о моих ботинках (будто бы «лакированных») говорят, о моих поместьях, мигренях и страхах мужицких бунтов, показалось даже и обидно. Мигрени-то у меня, может быть, и будут, но поместья, земли, кучера — навряд. До сих пор, по крайней мере, ничего этого не было — за всю мою жизнь не владел я буквально ничем, кроме чемодана» (т а м ж е, стр. 60).

«Большинство критиков совершенно не поняли моей точки зрения,— жаловался Бунин корреспонденту одной из одесских газет.— Меня обвиняли в том, что я будто озлоблен на русский народ, упрекали меня за мое дворянское отношение к народу и т. д. И все это за то, что я смотрю на положение русского народа довольно безрадостно. Но что же делать, если современная русская деревня не дает повода к оптимизму, а, наоборот, ввергает в безнадежный пессимизм...» («И. А. Бунин», стр. 174—175).

Стр. 164. *Муромцев* Сергей Андреевич (1850—1910) — председатель Первой государственной думы, один из лидеров кадетской партии, сторонник оппозиционно-либерального направления.

Стр. 166. *Дурново* Петр Николаевич (1844—1915) — с октября 1905 г. министр внутренних дел, жестоко расправлявшийся с участниками революции 1905—1907 гг.

«*Витя*» — речь идет о Сергее Юльевиче Витте (1849—1915), во время революции 1905 г. главе правительства, сформировавшем реакционный кабинет, в котором главную роль играл П. Н. Дурново.

Стр. 168. *А Макаров-то, говорят, жив...*— Макаров Степан Осипович (1848—1904) — вице-адмирал, командующий Тихоокеанским флотом; погиб на борту броненосца «Петропавловск», подорвавшегося на японской мине.

Стр. 192. *...Дрейфусом на Чертовом острове.*— На Чертовом острове близ Гвианы отбывал пожизненную каторгу бывший офицер французского генерального штаба А. Дрейфус, осужденный в 1894 г. по ложному доносу.

С у х о д о л (стр. 216). — Произведение задумано было Буниным как «первая часть большой повести-романа» (т. 9, стр. 536) и находилось «в прямой связи» с повестью «Деревня». «В моем новом произведении «Суходол» рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан «Деревни») представителя русского народа — дворянства. Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще...» — объяснял Бунин свой замысел корреспонденту газеты «Московская весть» в сентябре 1911 года. Задача писателя была «дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком...» (т а м ж е, стр. 536—537).

Факты и характеры, изображенные в «Суходоле», взяты Буниным из семейных рассказов, слышанных еще с детства; за героями повести стоят реальные прототипы — по характеру и судьбе. Так, в тете Тоне выведена тетка Бунина по отцу, Варвара Николаевна, которая «помешалась, когда отказала сделавшему ей предложение офицеру, товарищу по полку дяди Николая... ее лечили и доктора и знахари...» — пишет В. Н. Муромцева-Бунина. Потом «она успокоилась, только стала очень неряшлива, живет в страшной грязи, у нее несколько десятин земли, корова и куры, она держит работника, который обращается с ней очень грубо: раз чуть не убил ее, замахнулся топором...» (так рассказывал о сестре отец И. А. Бунина.— «Жизнь Бунина», стр. 34). В образе Петра Кириллыча запечатлелись черты и судьба деда писателя, Николая Дмитриевича, который так тосковал после ранней смерти жены, «что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании... он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову... После чего он и стал не вполне нормальным» (т а м ж е). А в беспечном и обаятельном отце Хрущевых запечатлелись некоторые черты отца Бунина, который будет выведен во весь рост в «Жизни Арсеньева».

«Суходол» вызвал множество критических отзывов, в которых критики всех направлений и масштабов единогласно упрекали писателя в двух грехах: в сгущении ужасов при изображении российской помещичьей и крестьянской жизни и в «барском» отношении к мужику, в отчужденном спокойствии при живописании всех ужасов.

В 1912 году под названием «Суходол» Бунин выпустил сборник рассказов. На эту книгу в «Одесских новостях» был помещен отзыв молодого критика Д. Тальникова, в котором прозвучала объективная и достаточно справедливая по тем временам оценка бунинского творчества.

Тальников писал «о замечательной книге...— книге писателя очень серьезного и очень большого... которого... очень мало знают, мало читают, о котором мало говорят... Я знаю, что он честен как писатель, до последней строчки своей, и вкусам читающей и покупающей публики никогда не старался угождать... Всегда проходят волны, смывающие ее (публики.— *А. С.*)... сегодняшних недолговечных кумиров, она возвращается к тем, кто долго работал в тиши, скромно, бесшумно,— и вот тогда торжествует справедливость... приходит суд времени, заносит чье-то имя на скрижали... Книга эта — «Суходол» — книга зрелости таланта, пышного праздничного расцвета его, книга большого, настоящего художества, большой творческой силы и мастерства... Он (Бунин.— *А. С.*), после долгих лет медленных хождений по теневым интимным тропинкам, сразу вышел на солнечный свет большой, великой дороги русской литературы...» Возражая критикам, упрекавшим Бунина в нелюбви к мужику, критик пишет, что Бунин «не дает разрешения той страшной подавляющей типичной правде, которую он видит, чувствует, переживает... именно поэтому,— заканчивает статью критик,— вся правда Буниным сейчас «не досказана,— но досказать ее сейчас должен и может не художник, а социолог» («Одесские новости», 1913, 15 января).

Задуманный как часть большого произведения, «Суходол» продолжения не получил.

Стр. 219. ... *в шестую книгу вписанные*...— Род Буниных, как род потомственных, «столбовых» дворян, был вписан в родословную книгу, где, в частности, было сказано, что бунинский род «происходит от выехавшего к великому князю Василию Васильевичу из Польши мужа знатного Симеона Бунковского» (т. 3, стр. 478).

Стр. 239. «*Людмила*» — перевод В. А. Жуковским баллады немецкого поэта Бюргера «Ленора».

«*Ты мертвецу святыней слова обручена*...» — неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Любовь мертвеца».

Б р а т ь я (стр. 275).— Написано под впечатлением путешествия Бунина в марте 1911 года на Цейлон, где он пробыл полмесяца. Это путе-

шествие, а также буддийское учение, с которым Бунин в ту пору познакомился и которым был захвачен, оставило на всю жизнь след в душе писателя и послужило поводом к созданию некоторых произведений (см. также прим. к этюду «Ночь»). «Когда я был в Коломбо,— вспоминал Бунин,— меня равно поразили свет солнца, совершенно непередаваемый и слепящий, и учение Будды, в котором много от этого слепящего очи и душу солнца... После, в Одессе, я вышел на берег как пьяный. Я жмурился, я не мог глядеть на землю, освещенную солнцем: мне все чудился огненный свет Коломбо. Я хотел передать этот свет в «Братьях» («И. А. Бунин», стр. 196—197). Другим не менее сильным впечатлением от поездки на Цейлон, послужившим содержанием бунинского рассказа,— было страдание Бунина при виде чужих страданий, при виде пропасти, зияющей между колонизаторами-англичанами и местным населением, влачащем жалкое, полудикое существование. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, на Цейлоне писатель «почти заболел. Не мог видеть рикш с окровавленными губами от бетеля. То, что чувствовал его англичанин в «Братьях», автобиографично» (т а м ж е, стр. 158). «В Коломбо,— вспоминал Бунин,— я глазам своим не верил, видя, как опасливо, все время начеку проходят англичане по улицам,— как они боятся осквернить себя нечаянным *прикосновением* к тамилу, к сингалезу и вообще ко всякому «цветному» человеку, ко всякому «презренному» (по их любимому выражению) дикарю» (т. 5, стр. 482).

В 1922 году о рассказе «Братья» с горячей похвалой отозвался Ромен Роллан: «Я вижу,— писал он Бунину,— ...вдохновенную красоту некоторых рассказов, обновление вашими усилиями того русского искусства, которое и так уже столь богато и которое вы сумели еще более обогатить и по форме, и по содержанию, ничто не захватило меня так сильно в вашей книге, как эти два рассказа: «Братья» и «Соотечественник» («И. А. Бунин», стр. 197).

Стр. 275. «*Сутта Нипата*» — одна из самых старых частей буддийского канона, созданная во второй половине 1 тысячелетия до н. э., трактующая этические проблемы и обладающая высокими поэтическими достоинствами.

Г о с п о д и н и з С а н - Ф р а н ц и с к о (стр. 295).— У Бунина часто, в преддверии даже самых его значительных произведений, побуждением к писанию служило какое-нибудь эмоциональное впечатление. Так, более чем за шесть лет до написания «Господина из Сан-Франциско», в апреле 1909 года, как вспоминает В. Н. Муромцева-Бунина, на пароходе, по дороге из Италии в Россию, у Бунина «завязался спор о социальной несправедливости», и Бунин так ответил оппоненту, придерживавшемуся, видимо, реакционных убеждений: «Если разрезать пароход вертикально,

то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т. д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает...» «Я считаю,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— что здесь зародился «Господин из Сан-Франциско» («И. А. Бунин», стр. 131). Нужно думать, что при описании огромной «Атлантиды» у Бунина воскресло это эмоциональное воспоминание. О другом толчке, чисто внешнем, побудившем Бунина начать рассказ, вспоминает он сам: «Летом пятнадцатого года, проходя однажды по Кузнецкому мосту в Москве, я увидал в витрине книжного магазина Готье издание на русском языке повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», но не зашел в магазин, не купил ее, а в начале сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу «Квисисана», где мы жили в тот год, и тотчас решил написать «Смерть на Капри», что и сделал в четыре дня — не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию серенькихи уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе и в доме; попишу немного, оденусь, возьму заряженную двустволку, пройду по саду на гумно, куда всегда слеталось множество голубей, возвращусь с пятью, шестью штуками, убитыми дуплетом, и опять сяду писать... Заглавие «Смерть на Капри» я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: «Господин из Сан-Франциско...» И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в «Квисисане») я выдумал...

Обычно я пишу быстро и спокойно, вполне владея своими мыслями и чувствами, но на этот раз писал, повторяю, не спеша и порою весьма волнуясь.

«Смерть в Венеции» я прочел в Москве лишь в конце осени...» (т. 9, стр. 368—369). «14—19 августа писал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Плакал, пиша конец»,— записал Бунин в дневнике («И. А. Бунин», стр. 204).

Сохранились рукописи рассказа, хотя Бунин не любил их оставлять и впоследствии всегда уничтожал черновики своих вещей. «Не хочу, чтобы кто-нибудь любовался моим пищеварением... Черновики надо непременно уничтожать!» («Русские новости», 1945, 9 ноября). По черновикам видно, как тщательно работал Бунин над словом, какой труд и ответственность было для него писание. Он и сам не скрывал, что работает с громадным напряжением сил, даже мучениями — и считал это естественным. И в ранние, и в поздние годы он повторял, что ремесло писателя — тяжкий труд. «Какая мука, какое невероятное страдание литературное искусство! Я начинаю писать,— говорил он в десятые годы,— говорю самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что подобную этой фразе сказал

не то Лермонтов, не то Тургенев. Перевертываю фразу на другой лад, получается пошлость, изменяю по-другому — чувствую, что опять не то, что так пишет Амфитеатров или Брешко-Брешковский. Многие слова — а их невероятно много — я никогда не употребляю, слова самые обыденные. Не могу. Иногда за все утро я в силах, и то с адскими муками, написать всего несколько строк... Какая мука наше писательское ремесло... А какая мука найти звук, мелодию рассказа,— звук, который определяет все последующее! Пока я не найду этот звук, я не могу писать» (сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 247, 248).

М. Горький писал Бунину: «В моей очень суетной и очень тяжелой жизни Вы — может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное. Знали бы Вы, с каким трепетом читал я «Человека из Сан-Франциско» («Горьковские чтения», М., 1961, стр. 85). Томас Манн очень высоко ставил рассказ «Господин из Сан-Франциско» и говорил, что он может быть поставлен рядом с «Поликушкой» и «Смертью Ивана Ильича» Л. Толстого («И. А. Бунин», стр. 204—205).

Сны Чанга (стр. 313).

Стр. 314. *...правда еврея Иова...*— По библейскому преданию, Иову, усомнившемуся в справедливости божьего промысла, принадлежат слова: «Но где премудрость обретается? и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых», «человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями».

...правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста.— Экклезиасту, философу и проповеднику, Библия приписывает слова: «всё — суета и томление духа»; «человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем»; «если человек проживет много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много». Слова капитана: «Помни, человек... нет мне удовольствия в них» — неточная цитата из «Книги Экклезиаста» (Библия).

Стр. 319. *Тао* — древнекитайское божество; согласно древнекитайской религии (таоизму), человек не может распоряжаться своей судьбой на земле.

Стр. 324. *«Золотое кольцо в ноздре свиньи...», «Коврами я убрала постель мою...»* — слова из «Притч Соломоновых» (Библия), приводимые Буниным не точно. Соломон Премудрый — древнеиудейский царь, по преданию, автор некоторых книг Библии: «Притч», «Премудростей», «Песни Песней».

Старуха (стр. 326).

Стр. 328. *...давно были убиты из пулеметов немцами.*— Речь идет о первой мировой войне, которую Бунин тяжело переживал. «Миллионы

народа... гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше,— говорил он.— Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк» («И. А. Бунин», стр. 206). «Мрачен я стал адски,— признавался он в марте 1916 г.,— пишу мало...» (т а м ж е). В апреле 1916 г. Бунин жаловался корреспонденту «Одесских новостей», что последние два года «работал меньше. Война как-то подавляет... И кажется, что слово вообще не может дойти до человеческого сердца» (т. 9, стр. 548).

Р о з а И е р и х о н а (стр. 329).— Точная дата написания неизвестна. Произведение открывало собою, в качестве введения, сборник рассказов и стихотворений под тем же названием, вышедший в Берлине в 1924 году, а также восьмой том Собрания сочинений («Петрополис»). Таким образом, писатель придавал «Розе Иерихона» программное значение.

Стр. 330. *...совершал я свое первое дальнее странствие.*— Бунин имеет в виду свое путешествие на Ближний Восток весной 1907 г.

Пятиградие — пять городов в Палестине, упоминаемых в Библии: Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор.

Рахиль — по библейской легенде, жена патриарха Иакова.

С к а р а б е и (стр. 330).— Бунин вспоминает свое путешествие в Египет в 1907 году, описанное в книге «Тень птицы».

Мариетт Август (1821—1881) — египтолог, основатель Булакского национального музея.

К н и г а (стр. 334).

С т р. 335. *...зачем выдумывать?.. Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой?* — Бунин долгие годы был убежден в том, что сюжет, фабула вредят художественности произведения. «Девять десятых писателей...— только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души» (т. 5, стр. 96). Впоследствии, однако, Бунин расширил свою точку зрения, обретя именно «способность выдумывать» (см. прим. к книге «Темные аллеи», стр. 520).

М и т и н а л ю б о в ь (стр. 335).— Первое крупное произведение, написанное в эмиграции. Повесть несет в себе автобиографические черты; в ней писатель воскрешает свою юношескую, самую сильную в жизни, любовь, пережитую в 1890—1892 годах к В. Пащенко, все чувства, с нею связанные. Героиня повести Катя также наделена некоторыми чертами той,

что была предметом любви молодого Бунина; она непостоянна, не всегда уверена в своем чувстве, тянется к сцене и, наконец, бросает своего возлюбленного ради другого человека. Автобиографична такая, например, подробность, как увлечение Мити стихами, в частности, «Азрой» Гейне (романс Рубинштейна), о чем он писал в письме к Пащенко в 1892 году. В. Н. Муромцева-Бунина утвержд ла: «...Переживания Мити — это переживания юноши Бунина... И, мне кажется, нигде Иван Алексеевич не приоткрыл своих любовных переживаний, как в «Митиной любви», тщательно закамуфлировав их» («Новый мир», 1969, № 3, стр. 219—220).

Новаторство повести Бунина о любви, являвшее собою сочетание современной смелости и откровенности и одновременно классической отточенности и совершенства языка, не было понято эмигрантскими современниками писателя; писали о якобы проблеме «безликого пола», сравнивали (в этом же плане уже в 30-е годы) повесть Бунина с «Дьяволом» Л. Толстого и т. д. Бунину приходилось «объяснять себя», в частности, по поводу «усвоенности» им Л. Толстого: «дух, звук, некая пронзительная лиричность «М[итиной] любви» — и — как бы сказать без нескромности? — некая легкость, «тонкость», «модерность» и — стихотворность, что ли,— где он тут, Толстой?» (т. 5, стр. 523). У писателя были все основания с большой грустью сказать однажды: «Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла — никем не понято, не оценено по-настоящему!» («И. А. Бунин», стр. 207).

В 1926 году повесть «Митина любовь» вышла во французском переводе, под заглавием «Посвящение в любовь». Прочитав повесть, датский историк литературы и критик Георг Брандес писал: «Я прочел «Митину любовь» по-французски и очень взволнован ею. Меня поражает в ней тонкость анализа любви, и я не могу не выразить своего восхищения» (т. 5, стр. 523).

Немецкий поэт Р.-М. Рильке дал подробный разбор «Митиной любви», своеобразно переосмыслив Митю и его переживания. 25 февраля 1926 года в письме корреспонденту, усмотревшему, по-видимому, сходство между 8-й Дуинской элегией Рильке и повестью Бунина, он писал: «...Участь того, кто все же остается жить, конечно, лучше Митиной. Я вот уже несколько месяцев как знаком с обоими, и с Катей, и с Митей, по хорошему французскому переводу «Le Sacrement de l'Amour»... «Случай» Мити — это один из тех многочисленных случаев нетерпения (и притом один из самых чистых и трогательных), когда молодой человек теряет любопытство и способность ожидать течения событий и выхода из невыносимого положения и перестает верить в то, что за этими страданиями, в которые вступил и вовлечен был весь мир, должно последовать что-то иное, может быть, поначалу и не более легкое, но, во всяком случае, иное, которое в силу своей инакости должно было бы представляться более выносимым и переносимым. Сначала судьба Мити показалась мне не имеющей ничего

общего с теми душевными состояниями, о которых говорит мое стихотворение. Но нет, вы правы, как о «любящем», о нем, конечно, говорится в этом стихотворении... Любимая, Катя, эта нежная, впечатлительная Катя, впервые дает ему тот взгляд на простор, который (быть может) приближается к великому бессознательно-знающему взгляду животного; но едва только он покидает любимую девушку, как от тоски и покинутости он заполняет эту открывшуюся ему беспредельную даль, это блаженство, которое есть не что иное, как пространство,— тоже любимым, близким ему миром, который он затем, с утратой Кати, по необходимости вместе с нею утрачивает, так что ему не остается ничего, кроме небытия, кроме «néant», в котором он храбро и последовательно гибнет.

Малейшая доля любопытства (я намеренно применяю эту саму по себе ничтожную мерку) к тому состоянию, которое должно было последовать за этим отчаянием, могла бы еще спасти его, хотя он действительно погрузил весь мир, который он знал и видел, на маленький, устремляющийся от него прочь кораблик «Катя»... на этом кораблике ушел от него мир» («Вопросы литературы», 1966, № 9, стр. 248—249). Рильке, поэтически домысливший образ Мити, сделал вывод о том, что повесть Бунина — книга *не*современная. «Le sacrement de l'Amour» передает лучше то, что здесь происходит, чем заглавие «Митина любовь»,— пишет он.— Митина любовь была бы скорей *не*утраченная Катя, счастье, борьба, судьба рядом с ней, и все же в конце концов утрата друг друга, которая была бы с Катей, какова она есть, неизбежна... В этом смысле маленький роман Бунина почти старомодная книга: *нас* (то есть современных людей, как иронически пишет Рильке.— *А. С.*) гораздо больше интересует то, что происходит *в* тех и между теми, кто не теряет себя на такой лад и все-таки должны как-то по-иному, в жизни, потерять себя, ибо не научились любить» (т а м ж е, стр. 249).

Стр. 340. «*Девушка пела в церковном хоре...*» — первая строка стихотворения А. Блока (без названия).

Стр. 344. «*Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится!*» — строка из стихотворения Козьмы Пруткова «Юнкер Шмидт».

«*Азра*» — романс А. Рубинштейна на слова Г. Гейне.

Стр. 359. «*Вижу, роза,— счастья сила...*»— неточно приведенная строка из стихотворения А. Фета «Роза».

С о л н е ч н ы й у д а р (стр. 384).— О происхождении этого рассказа Бунин рассказывал Г. Кузнецовой, которая записала в своем дневнике: «Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И[вана] А[лексеевича] это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так, «Солнечный удар»

явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее» («Грасский дневник», стр. 24).

Н о ч ь (стр. 390).— О рождении этого произведения Бунин рассказывал так: «Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал» (т. 9, стр. 47).

Стр. 391. «*Решился я испытать разумом все, что делается под солнцем...*» — Здесь и дальше Буниным неточно цитируется «Книга Экклезиаста» (Библия).

Б о ж ь е д р е в о (стр. 400).— В рассказе воскрешены воспоминания о жизни летом 1908 года в Васильевском, имении двоюродной сестры Бунина. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает: «За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмована» («И. А. Бунин», стр. 121). Бунин в рассказе «Божье древо», как и во всех своих произведениях, где действуют люди из народа, в точности воспроизвел народную речь, не терпя никаких подделок и не прощая их писателям. «Сколько поклонников старинного («ядреного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!.. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные *сказания*, *сказки* и *«словеса золотые»* и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно!» — возмущался он и возражал корреспонденту, с которым переписывался по поводу рассказа «Божье древо» и который высказал положительное отношение к языку А. М. Ремизова: «Ремизов составляет по областным словарям (и вообще «из книг сличает», как говорит у меня дворовый в «Святых») никогда не существовавший и не могущий существовать мерзейший русский язык» («Русская литература», Л., 1961, № 4, стр. 155). Вместе с тем, в точности воссоздавая речь своего героя, Бунин возражал против утверждения, будто и характер Якова Демидыча списан с реального лица; он утверждал, что герой его — фигура «вымышленная», «собирательная», имеющая «только *видимость*» живого лица, «вследствие одной из моих давних манер писать иногда в форме «записей», дневников, с умышленной протокольностью, с видимостью пережитого лично» (т а м ж е, стр. 153).

Ущелье, Петухи, Муравский шлях, Марья, Слезы, Дедушка (стр. 416—418).— Создание этих миниатюр (всего их было написано сорок с лишним) связано с работой Бунина над книгой «Жизнь Арсеньева», содержанием их служит то, что не попало в книгу, но вспомнилось при работе над ней. «Надо, кроме наблюдений о жизни,— говорил Бунин в пору работы над «Жизнью Арсеньева», в 1929 году,— записывать цвет листьев, воспоминание о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ...» («Грасский дневник», стр. 113). Так родились бунинские миниатюры, которые писатель печатал в газетах под рубриками «Краткие рассказы» и «Далекое». Все они были созданы в 1930 году, когда писатель временно прекратил работу над «Жизнью Арсеньева». Именно к 1930 году относится следующее бунинское высказывание: «Надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк... в сущности, у всех самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними — вода» (т. 5, стр. 533). Несколько ранее Бунин высказался о том же в более парадоксальной форме: «В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строки» (там же, стр. 97). В поздние годы он категорически утверждал о своей прозе: «Меня научили краткости стихи» (т. 9, стр. 172).

Бернар (стр. 419).— Первые два абзаца рассказа были написаны в 1952 году. Они, а также измененный конец, в котором Бунин говорит о самом себе, придали рассказу значение произведения, подводящего жизненные итоги. *Бернар* — моряк, персонаж очерков Мопассана «На воде», вольное и краткое цитирование которых и представляет собою произведение Бунина. С очерками «На воде» Бунин познакомился в 1911 г., когда брал их с собою в путешествие на Цейлон.

ИЗ КНИГИ «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»

Книгу «Темные аллеи» составили рассказы 1937—1945 годов, объединенные общей темой (в прижизненное издание «Темных аллей», вышедшее в Париже в 1946 г., вошло 38 рассказов). Книгу эту Бунин очень любил и считал ее «самой совершенной по мастерству» (т. 7, стр. 367).

Большинство рассказов книги писалось в годы войны, в Грассе, где Бунин жил безвыездно все пять лет войны, в большой нужде. В те годы трудно было мечтать об издании книги, но все это время писатель работал очень упорно и тщательно и по нескольку раз переписывал рассказы. О работе Бунина над его книгой современник вспоминает: «Он писал свою книгу запоем, словно все время торопился, боялся не поспеть, боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали недели, когда он с утра буквально до позднего вечера запирался (неизменно на ключ!)

в своей большой комнате... Он записывал в различные тетрадки с картонными обложками различных цветов, до которых был большой любитель, какие-то словечки, обрывки будущих диалогов для еще не рожденных произведений, составлял списки приходивших ему на память областных выражений... собирал по категориям имена и отчества для своих будущих героев, придумывал им фамилии, уверяя, что для каждого писателя необычайно важно дать своему герою подходящее имя и что неудачно окрещенный герой одним своим именем способен погубить любое произведение... Вижу теперь перед глазами эти длинные колонки имен и фамилий, расположенные по категориям: купцы, мещане, дворяне, татары, евреи, учителя, доктора, писатели и т. д. Сохранились ли все эти списки, все эти записи? Или эти грасские тетради стали жертвой одного из тех аутодафе, которые Бунин периодически устраивал в своей печурке, опасаясь, как он утверждал, что какой-нибудь «монах трудолюбивый», вернее, что кто-нибудь когда-нибудь проникнет в его творческую лабораторию...» («И. А. Бунин», стр. 232 –233).

Замыслы рассказов «Темных аллей» возникали часто внезапно; толчком служило какое-нибудь воспоминание (см. прим. к рассказам), и сюжет рассказа развивался более энергично, чем в прежних, более ранних бунинских произведениях. В этом признавался и сам писатель. «В молодости я очень огорчался слабости своей *выдумывать* темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький...— писал Бунин в 1947 году.— А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться «не по дням, а по часам», как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался, совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю «необыкновенной памятью», что я все пишу «с натуры», то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел!» (сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 240).

Т е м н ы е а л л е и (стр. 422).— Замысел, а также заглавие этого рассказа, по которому впоследствии и была названа вся книга, навеяны были стихотворением Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть». «Перечитывал стихи Огарева,— вспоминал Бунин,— и остановился на известном стихотворении:

Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,

Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ,— осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый военный... Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно,— как большинство моих рассказов» (т. 9, стр. 371).

В 1924 году в рассказе «Надписи» Бунин привел две строки из этого же стихотворения и написал: «Блаженные часы проходят и... надо, необходимо... хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцветанию шиповника» (т. 5, стр. 175). Эти слова и послужили основой замысла книги «Темные аллеи».

С т е п а (стр. 426).— «Написано в 1938 году, на вилле в Beausoleil, над Монте-Карло,— вспоминал Бунин о возникновении этого рассказа.— Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имения моего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской губерний) по направлению к станции Боборыкино. Проливной дождь. Затем — сумерки, постоялый двор возле шоссе и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой, неожиданно; когда начал рассказ, еще не знал, чем кончу.

...Это у меня постоянное — то и дело ни с того ни с сего частично мелькает в воображении какое-нибудь лицо, какой-нибудь пейзаж, какая-нибудь погода,— мелькает и пропадает, а иногда вдруг задерживается, останавливает внимание на себе, смутно требует развития, уточнения, волнует...» (т. 9, стр. 373).

Н а т а л и (стр. 450).— Бунин так пишет о происхождении этого рассказа: «Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает «мертвые души», и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое.

Молодой герой моего рассказа сперва заезжает,— ненадолго,— в имение своего родного дяди, улана Черкасского, для которого я взял старика-улана Муромцева, который слыл под кличкой «раздраженный улан», между тем как улан Черкасский был добрый человек, только такой же большой ростом и всем складом, как улан Муромцев. Я поместил его имение в речной долине, подобной той, в которой было расположено имение брата улана» (т. 9, стр. 373). По свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, в начале января 1907 года Бунин «ездил на один сутки в Воро-

неж. Его пригласпли участвовать на вечере в пользу воронежского землячества... Бунин согласился приехать в город, где он родился, и участвовать в вечере... Этот вечер, вернее, вся его обстановка, дана в его рассказе «Натали» («И. А. Бунин», стр. 106).

Стр. 465. *Брюс* Якоб (1670—1735) — ученый, сподвижник Петра I. Под его руководством составлен так называемый «Брюсов календарь».

Речной трактир (стр. 475).— Отдельное издание рассказа, иллюстрированное М. Добужинским, было предпринято друзьями Бунина в Нью-Йорке в 1945 году с целью помочь глубоко нуждавшемуся в то время писателю. «Издание это было по подписке,— вспоминает В. Н. Муромцева-Бунина.—... Оно дало нам возможность прожить некоторое время. Помню, что кто-то принес довольно большую сумму, Иван Алексеевич лежал с высокой температурой в воспалении легкого... Иван Алексеевич был в жару, и ему было трудно написать расписку. Это было в 1946 году, 7 января» («Новый мир», 1969, № 3, стр. 223).

Холодная осень (стр. 481).

Стр. 481.— *Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда.*— 15/28 июня 1914 г. в Сараеве (Босния) членами сербской националистической организации был убит австрийский эрцгерцог Фердинанд; это событие послужило поводом к началу первой империалистической войны.

Чистый понедельник (стр. 484).— В. Н. Муромцева-Бунина вспоминала, что «Темные аллеи» были любимой книгой Бунина. Он «считал, что там каждый рассказ написан своим ритмом, в своем ключе»,— и добавляла: «А про «Чистый понедельник» он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник» («Новый мир», 1969, № 3, стр. 211).

Стр. 487. *«Огненный ангел»* — повесть В. Я. Брюсова (1908—1909).

Стр. 489. *Рипида* (церк.) — образ, посаженный на древко. *Трикирий* — церковный трисвечник. *Пересвет и Ослябя* — богатыри, по преданию, начавшие Куликовскую битву. *Крюки* — старинные церковные нотные знаки.

А. Саакянц

СОДЕРЖАНИЕ

А. Твардовский. О Бунине 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

«В темнеющих полях, как в безграничном море...» 43
«Какая теплая и темная заря!..» 43
«Не видно птиц. Покорно чахнет...» 44
«Седое небо надо мной...» 44
В степи 44
Подражание Пушкину 46
Родине 46
«Бушует полая вода...» 47
«Неуловимый свет разлился над землею...» 48
«Отчего ты печально, вечернее небо?..» 48
«Беру твою руку и долго смотрю на нее...» 48
«Я к ней вошел в полночный час...» 49
Плеяды 49
«Таинственно шумит лесная тишина...» 49
«Как светла, как нарядна весна!..» 50
Листопад 50
Вирь 54
После половодья 56
Сумерки 56
«Зеленый цвет морской волны...» 56
«Зарницы лик, как сновиденье...» 57
«На высоте, на снеговой вершине...» 57
«Еще и холоден, и сыр...» 58

Ночь 58
«За все тебя, господь, благодарю!..» 59
Веснянка 60
«Пока я шел, я был так мал!..» 61
«Не устану воспевать вас, звезды!..» 62
«Багряная печальная луна...» 62
«Чашу с темным вином подала мне богиня печали...» 63
Надпись на чаше 63
Одиночество 63
Огни небес 64
Разлив 65
Русская весна 65
«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...» 66
«В лесу, в горе, родник живой и звонкий...» 66
Стамбул 67
Статуя рабыни-христианки 67
Тропами потаенными 67
День гнева 68
Гробница Сафии 69
Эсхил 69
Золотой невод 70
Мудрым 70
Священный прах 71
Зейнаб 71
Магомет в изгнании 71
«Геймдаль искал родник божественный...» 72
Джордано Бруно 72
Храм солнца 74
Трясина 75
Из анатолийских песней
Девичья 75
Рыбацкая 75
Иерихон 76
Художник 76
Собака 77
Вечер 78
«Мелькают дали, черные, слепые...» 78
Зов 78
Псковский бор 79
Летняя ночь 79
Потомки пророка 80
Ритм 80
Завет Саади 81

Слово 81
Поэту 81
«Ты, светлая ночь, полнолунная высь!..» 82
«Лиман песком от моря отделен...» 82
Зеркало 83
В горах 83
«Край без истории... Все лес да лес, болота...» 84
Последний шмель 84
Помпея 85
Кобылица 85
На исходе 86
Голубь 86
«Вот знакомый погост у цветной средиземной волны...» . . . 87
Ландыш 87
Свет назакатный 87
«О радость красок! Снова, снова...» 88
«Ранний, чуть видный рассвет...» 88
«Мы рядом шли, но на меня...» 88
«Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...» 89
«Этой краткой жизни вечным измененьем...» 90
«Как в апреле по ночам в аллее...» 90
«Звезда дрожит среди вселенной...» 90
«В пустом, сквозном чертоге сада...» 91
«В дачном кресле, ночью, на балконе...» 91
«И цветы, и шмели, и трава, и колосья...» 92
«Огонь, качаемый волной...» 92
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...» 92
«Печаль ресниц, сияющих и черных...» 93
1885 год 93
Дочь 93
«Опять холодные седые небеса...» 94
Ночь 94

РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ

Антоновские яблоки 97
Деревня 109
Суходол 216
Захар Воробьев 264
Братья 275
Господин из Сан-Франциско 295
Сны Чанга 313
Старуха 326

Роза Иерихона 329
Скарабеи 330
Мухи 331
Книга 334
Митина любовь 335
Солнечный удар 384
Ночь 390
Божье древо 400
Ущелье 416
Петухи 417
Муравский шлях 417
Марья 417
Слезы 418
Дедушка 419
Бернар 419

Из книги «Темные аллеи»

Темные аллеи 422
Степа 426
Руся 430
Генрих 438
Натали 450
Речной трактир 475
Холодная осень 481
Чистый понедельник 484

Примечания *А. Саакянц* 499

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 140

Иван Алексеевич Бунин
СТИХОТВОРЕНИЯ. РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ

*

Редактор С. Чулков
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева

*

Сдано в набор 25/IX 1972 г. Подписано к печати 31/I 1973 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84 1/16. 33 печ. л. 30,79 усл. печ. л. 31,21 уч.-изд. л. + 1 вкл. + 4 накидки = 31,75. Тираж 303 000 экз. Заказ № 3258. Цена 1 р. 80 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28